

Даниил
ГРАНИН

Суднобразитель

Даниил Гранин

Однофамилец

I

Можно доказать совершенно точно, что всё произошло случайно. Кузьмин остановился только для того, чтобы пропустить людей, запрудивших дорогу. Они выпрыгивали из автобусов, которые подходили один за другим, бежали наперерез через тротуар. Они торопились под бетонный козырёк подъезда. Падал крупный, тяжёлый снег, и многие из них были одеты легко и были без шапок.

Если бы Кузьмин шёл по другой стороне улицы, ничего не случилось бы. Конечно, событие, которое должно было произойти, когда-нибудь дошло, добралось бы до него в виде слуха, забавной истории...

Итак, он стоял, безучастно провожая глазами этих людей, поскольку ему предстояло идти ещё изрядный кусок до станции метро и лишняя минута, хоть и под мокрым снегом, ничего не значила.

Вот тут-то, находясь в этом устало-тупом состоянии, он почувствовал, что на него смотрят. Почувствовал не сразу, а так, будто его окликнули, сперва тихо, потом громче. Он оглянулся, поискал глазами и увидел наверху, на ступенях подъезда, среди спин и затылков, повернутое к нему женское лицо. Сквозь снежную кисею можно было различить только накрашенные губы на белом лице, черты без подробностей, так сказать общий вид. Женщина кивнула ему, успокоенная тем, что он заметил её, кто-то заслонил её, и ещё кто-то, и она неразличимо слилась с толпой, текущей в стеклянную светлую глубину дверей.

Некоторое время Кузьмин ещё стоял, зябко упрятав голову в плечи. Не то, чтобы он волновался, — в его годы, да ещё после тяжёлого рабочего дня, подобные штучки мало действуют, просто он пытался сообразить, кто бы это мог быть. Что-то полузабытое, возможное угадывалось в её лице. Не стёртый годами остаток, слишком малый для узнавания и всё же чем-то беспокойный.

Вскинув руку, он посмотрел на часы, скорее всего, даже не уяснив себе, который час. Что-то мешало ему двигаться дальше. Неожиданно для себя он вдруг повернулся, поднялся по ступеням, вместе с другими прошёл в гардероб, разделся и направился в холл.

У барьера, перед двумя мужчинами с зелёными повязками на рукавах, он очнулся, удивляясь себе, остановился, нарушая течение беспрепятственно входящих, и естественно, что молодой контролёр с русой бородкой, выставив руку, спросил у него билет.

— Мне надо тут... — начал Кузьмин, не зная, как объяснить. Он полез за удостоверением своего монтажного треста, почему-то уверенный, что его пропустят.

Второй контролёр, бритый, узкоглазый, непонятно усмехнулся, сказал: «Ну что вы, пожалуйста» — и несколько раз кивнул, не то уважительно, не то иронично. И Кузьмин прошёл.

В холле было тепло, тесно от многолюдного кишения. Ярко горели, переливаясь, большие хрустальные люстры. Вспыхивали блицы фотографов, верещали кинокамеры. Подхваченный общим потоком, Кузьмин куда-то двигался мелким шагом, пытаясь с высоты своего роста высмотреть ту женщину. Вскоре его вынесло к столикам, за которыми раздавали программы и регистрировали. Кузьмин взял программу, назвал свою фамилию девушке, которая сидела под буквами «И-М». Сделал он это машинально и тут же засмеялся, увидев, как палец девушки заскользил по списку, — было бы забавно, если бы он там оказался.

— Минуточку, — девушка взяла другой список, написанный от руки. — Всё в порядке, — и поставила крестик против фамилии Кузьмина, последней в столбце.

Он наклонился, стал рассматривать чей-то округлый спокойный почерк: «Кузьмин П. В.» И рядом крестик, как тайный знак.

— Это вы написали?

— Что-то неправильно? — поинтересовалась девушка.

У неё было кукольное личико с круглыми матовыми щеками, и на них круглый аккуратный румянец.

— И давно вы этим занимаетесь? — Кузьмин прочертил в воздухе замысловатую фигуру.

Девушка сразу стала холодна и невозмутима, как полярный день.

— Вы телепат? Прекрасно, мне как раз нужны младшие телепаты, — пояснил Кузьмин. — Пойдёте?

— Блокнот, значок получили? — терпеливо, без улыбки спросила она.

Это мне ни к чему. Вы мне лучше скажите, где та женщина, которую я ищу?

Девушка пожала плечами, не принимая шутку. Кузьмин вздохнул, ему было жаль девиц такого сорта, они загадочно взирали на всех с недоступной высоты и боялись оттуда спуститься.

«Господи, ну почему они не могут по-простому? — подумала девушка, глядя вслед Кузьмину. — Если он хочет познакомиться, так бы и сказал».

Он ей понравился. Он был похож на Жана Габена. Стареющий, спокойный и непонятный. Несмотря на заношенный костюм его, с оттопыренными карманами. Несмотря на клетчатую жёлтую ковбойку, что явно не соответствовала всем этим белоснежным рубашкам, голубоватым рубашкам, рубашкам в тонкую полоску, галстукам широким, цветастым, узеньким, уже выходящим из моды, но всё-таки модным. Что-то в нём было. Жаль, что он не обернулся.

Женщин в этой толпе было мало. Медлительно-грузный Кузьмин осторожно двигался сквозь толчею, обходя бурливые группы иностранцев, где знакомились, обменивались визитными карточками и кто-то кого-то узнавал, а кого-то представляли. Маленькие японцы широко и неподвижно улыбались и подолгу раскланивались, наклоняясь всем корпусом. Попадались ему индусы с нежными длинными лицами, плечистые шведы, а может, ирландцы, болгары, черноволосые, весёлые, он их сразу узнавал. У всех на лацканах блестели эмалированные значки какого-то конгресса математиков. Про конгресс Кузьмин вычитал из программки и сейчас, методично проглядывая всех этих людей, он невольно выискивал в них что-то общее, свойственное математикам, какую-то особенность, может быть некоторую отвлечённость, рассеянность, приметы иной жизни, иных страстей, нечто значительное, нездешнее.

Однако особой отвлечённости он не замечал. Вся эта публика держалась свободно, громко смеялась, чувствовалось, что все они так или иначе знают друг друга. Среди них Кузьмин невольно выделялся своей непричастностью. Он это чувствовал. Все бегающие, скользящие, ищущие глаза, натываясь на него, вопросительно запинались. Дело тут было не в костюме, не подходящем к этой парадной обстановке. Потому что были тут и молодые люди в затасканных свитерах, и небрежно одетые американцы в вельветовых штанах. Нет, дело было, наверное, в том, что Кузьмин не мог скрыть напряжённости. Он ждал продолжения событий. Судя по всему, происшествие должно было как-то развиваться. Он был готов к тому, что сейчас что-то произойдёт, и сам не замечал, как шаг его стал пружинисто-настороженным.

Курили беспощадно. Дым сигарет, ароматных американских сигарет с отдушкой, и крепкий дым сигар раздражали Кузьмина. Спустя два года, после всех мучений ему впервые нестерпимо захотелось закурить. Он сглотнул слюну и выругался. Ещё эти объятия и поцелуи. Кузьмин попробовал представить целующимися своих монтажников, и от этой нелепой картины красно-обветренное лицо его скривилось. Встречный негр белозубо оскалился, но Кузьмин сразу же понял, что это не ему, а кому-то за его спиной. Он стал сердиться. В этом шумном толповерчении его словно потеряли. Самое глупое было бы, если бы так всё и кончилось и он протолкался бы здесь и ушёл ни с чем.

Всем своим опытом он знал, что самое лучшее сейчас отправиться домой. Ничего такого быть не могло. Но тут же он почувствовал, что какая-то сила мешает ему это сделать.

Мимо него, окружённый французами, прошествовал лысый длинноголовый старичок. Это был не кто иной, как Лаптев, профессор Лаптев. Он сохранился почти в точности, разве что заостенел и несколько усох туловищем. Прикрытые морщинистыми веками жёлтые глаза его были неподвижны, как у ящерицы. Когда Кузьмин попал в их поле зрения, они едва заметно вздрогнули. Узнать его Лаптев не мог, по крайней мере вот так, с ходу. Но у Кузьмина почему-то всё замерло внутри. «Надо же... вот тебе и на...» — бормотал Кузьмин, глядя ему вслед. Ему вдруг начало казаться, что и кроме Лаптева здесь есть люди, которых он когда-то видел, даже знал. Ни разу ему не приходилось бывать на подобных конгрессах. Тем не менее во всём этом было что-то известное.

За колоннами работал буфет. Кузьмин ощутил голод, накопленный за день работы, и направился к стойке. Перед ним уступчиво раздвигались. Может, принимали его за дежурного коменданта или местного монтера, словом, за персонал. Он и не собирался без очереди, но уступчивость эта его обидела, и, нарочно приговаривая «вы уж позвольте», он вклинился к прилавку.

На длинных блюдах лежали маленькие, ромбиками нарезанные, бутербродики с чёрной и красной икрой и жёлтой розочкой масла. И сёмга тут была толстая, сочно-розовая, с лимонными дольками. И рыбное заливное. Осетрина или судак. Этим математиков неплохо обеспечивали. Кузьмин без стеснения набрал себе полный поднос, взял бутылку воды. Настроение его сразу поднялось. Он любил поесть.

Сидя за столиком, он ощутил своё преимущество — не его разглядывают, а он разглядывает... Заливной судак был хорош. Кузьмин запил нарзаном и пришёл к выводу, что такая еда всё оправдывает. Выигрывает тот, кто терпеливее, а пока можно наслаждаться тем, что есть. Перед ним, как на сцене, шествовала пёстрая причудливая процессия: трудолюбивые худосочные очкарики, измождённые ревнивой гонкой за ещё каким-нибудь интегралом; аккуратные ухоженные старички, бывшие корифеи, авторы толстых монографий и некогда решённых задач; уверенные в себе оппоненты и рецензенты; молодые бородатые гении, ещё мало успевшие, но обуреваемые и исполненные вызова; солидные, преуспевающие доценты, доктора всесторонне развитые, любители музыки, лодочных походов, детективов и альпинизма. Они надписывали оттиски своих статей и преподносили

их молодым член-коррам...

Никогда ещё ему не приходилось видеть сразу столько математиков. Невозможно было даже представить себе такое их количество, собранное вместе, а уж тем более понять, зачем их столько и что они делают. Это было то же самое, как если бы он попал, например, на конгресс дирижёров или укротителей. Тысяча дирижёров... В глубине души его сохранилось детски почтительное отношение к специальности математика как к необыкновенной и редкой, потому что люди, способные всю жизнь вычислять, возиться с понятиями невещественными, неощутимыми, со знаками и линиями, должны иметь головы, устроенные иначе, чем у обыкновенных людей.

— О, кого я вижу! — обрадованно пропел кто-то над Кузьминым. Это был молодой, гибко-тонкий, пружинистый, смутно знакомый Кузьмину инженер-расчётчик из Управления, с фамилией на «бу» или «бы» — никак не вспомнить. — Какими судьбами вы здесь, вот не ожидал... — Фраза повисла неоконченная, стало ясно, что он забыл имя-отчество Кузьмина, а по фамилии назвать не решился. Потому что если по фамилии, то надо было приставить «товарищ» — «товарищ Кузьмин», что уж звучало неприлично, поскольку Кузьмин был не просто старше его, но принадлежал к начальству.

— Случайно я тут, случайно, — успокоил его Кузьмин. — А вы?

Я-то не случайно, я делегат, — и на песочном в крупную клетку пиджаке его блеснул эмалированный значок. — Я ведь соискатель. А вы как думали.

— Никак не думал, — сказал Кузьмин. — Не успел.

Инженер рассмеялся, соглашаясь на подобную шутку. Значок его казался больше и ярче других значков.

— Разрешите к вам? — И, не дожидаясь ответа, позвал: — Витя! Давай сюда. Виктор Анчибадзе, — пояснил он. — Звезда первой величины, слава грузинской школы.

Округлый, мохнато-чёрный, похожий на шмеля Витя, нагруженный тарелками, поздоровался с Кузьминым без особого интереса и увлечённо продолжал про чей-то доклад, называя инженера Сандриком.

Говорили они непонятно, было заметно, что Сандрик красуется перед Кузьминым этим особым языком посвящённых.

— Проблема разрешения разрешима с одним аргументным местом, — звучно произнёс он, и крепкие зубы его впивались в бело-розовую ветчину.

— Вы уж нас простите, — перекинулся он к Кузьмину с улыбкой, — у нас, математиков, всё не как у людей. Для постороннего это, наверное, дико. Меня вот сегодня венгры атаковали. Они по-нашему ни бум-бум, я по-ихнему с той же силой. И что вы думаете? Потолковали за милую душу... — А зубы его работали, и руки, и глаза, и то и дело он вскакивал, кому-то приветственно махал, здоровался, не прерывая разговора ни с Анчибадзе, ни с Кузьминым... Наша наука — единственная научная наука. Госпожа всех наук! У нас что сумел, то и сделал, ни от чего не зависишь. Только от этого! — и он энергично постучал себя по лбу.

Бахвальство его начинало раздражать Кузьмина.

— Значит, госпожа, а я-то думал, что вы помощники, — сказал он.

Пусть не госпожа, пусть служанка, пожалуйста, — нетерпеливо и обрадованно подхватил Сандрик. — Только служанки бывают разные. Есть такие, что несут сзади шлейф, а есть и другие, что несут впереди факел. Понятно? И он от удовольствия даже прижмурился.

Особенно нахально прозвучало у него вот это «понятно?». Никогда в Управлении он не посмел бы в таком тоне разговаривать с Кузьминым.

— Служанка с факелом — это нужнее госпожи. А? — поддразнивая, сказал Анчибадзе. — А если без факела? Ещё лучше. В темноте вообще не разобрать, who is who. А? — И он рассмеялся озорно, с подмигом.

Кузьмин почувствовал себя старым, вернее устаревшим, для таких игр. Да и слишком неравны были силы.

— Хорошо бы к такой закуси стопаря опрокинуть, — вдруг сказал он.

Анчибадзе выкатил на него пылко-чёрные глаза, усваивая этот поворот, и одобрил:

— Годится. Сандрик!

Не успел Кузьмин проследить, что откуда, как перед каждым стоял бумажный стаканчик с коньяком.

— Поехали, — сказал Кузьмин и выпил без особой охоты.

— Вы на какую секцию идёте? — спросил Анчибадзе.

Кузьмин сделал загадочное лицо:

— У меня здесь совсем иная миссия.

На мгновение ему удалось вызвать их интерес. Но тут же Сандрик зашептал с восторгом:

— Перитти! Гениальный мужик! Глава миланской школы.

Кузьмин и не повернулся. Плевал он на этого Перитти. Маленькие голубоватые его глазки, устремлённые на Сандрика, медленно темнели.

— Между прочим, как у вас с пересчётом пускателей? — спросил он.

Сандрик дёрнул плечом.

— Нашли, что называется, время и место.

— А всё же? — чуть поднажал Кузьмин.

— Вы, значит, сюда приехали выяснять насчёт пускателей? — Сандрик обиженно хохотнул и сказал с некоторой злорадной скорбью: — Боюсь, что наши мужи отказались пересчитывать. Увы!..

Кузьмин так и полагал, что откажутся. Хоть и обязаны. Знают, черти, что нет у него времени добиваться. Монтажникам всегда некогда качать права. У них сроки сдачи. И без того съеденные строителями, нарушенные поставщиками. Всякий раз его прижимают к стенке...

— Эх, вы, какие из вас факельщики, — сказал Кузьмин в сердцах. Халдеи вы. Вам лишь бы защититься, степень схватить.

Сандрик покраснел.

— А вы как думаете? — озлился он. — Неужели вам за столько лет не обрыдло: коммутаторы-аккумуляторы, сердечники-наконечники... господи, как вспомнишь, так вздрогнешь. Чем занимаемся, а? Нет уж... Да, да, скорей бы защита и привет! Чао!

...Наконечников не досылали второй месяц. Из-за этого пустяка фронт работ перекошило, график рухнул. На каждом объекте повторялось, в сущности, одно и то же. То наконечники, то муфты, то пускатели... «У нас серьёзные неприятности бывают только из-за пустяков», — говорил Кузьмин. Годы тратили на эти пустяки. Этот Сандрик довольно метко ударил в больное место: «Сердечники-наконечники». Набор повседневных забот Кузьмина прозвучал у этого мотылька так пренебрежительно, так убого, что Кузьмину стало себя жаль. Он вспомнил было недавнюю премию за компоновку распреустройства. Провозился почти год, пока ему удалось ужать эти ящики на двадцать сантиметров. Но что значили его старания, его премия для этих пиджонов, занятых вопросами Вечными и Всемирными? Да что там — Вселенскими! Что для них проблема железной воронки, которую надо затиснуть под разъединитель. Их мир свободен от бракованного кабеля, от загулявшего сварщика, от инспектора Стройбанка...

— Конечно, отвлечёнными материями куда как приятнее заниматься. И доходней. Сёмгой кормят. Да только пользы от вас...

— Ну, это вы зря, из отвлечённых материй самые практические вещи выходят, назидательно поправил Сандрик. — Возьмите Эйнштейна...

— Не надо Эйнштейна. Чуть что — Эйнштейн, — неожиданно буркнул Анчибадзе. — Оставь, пожалуйста, его в покое. Ты собственной жизнью пользуйся.

Сандрик словно поскользнулся, он не ожидал удара с этой стороны.

— Витя... чудак, Эйнштейна я ж для доходчивости... А себя что ж приводить... Какая у меня жизнь? Если хочешь знать — нет у меня жизни. Я для них знаешь кто? — Он вскочил, наставил палец на Кузьмина. — Карьерист! Человек, который хочет остепениться. Такой-сякой, ищет лёгкой жизни. А вы спросите — почему ты, Зубаткин, хочешь уйти? — И он с чувством ударил себя в грудь. — Да потому что надоело. Никому мои способности в этой конторе не нужны. В прошлом году толкнули мы идею одну по сетям. И что? А ничего! Под сукно. Кабеля, говорит, нет. Талант у нас не нужен. У нас исполнители нужны.

Палец его указывал на некие высшие сферы, которые умотали их проект, задробили, спустили в песок, и в то же время ввинчивался в Кузьмина, который олицетворял перестраховщиков, дуболомов, мамонтов, хранителей этого идиотского порядка, когда, экономя на куске кабеля, выбрасывают миллионы киловатт-часов.

А Кузьмин вспомнил, как управляющий метался, добывая этот кусок, чтобы пустить готовый химкомбинат... «На бумаге легко резвиться! — кричал управляющий. — Идей много, а я сейчас все идеи отдаю за тысячу метров кабеля!..» И Кузьмин понимал его лучше, чем этих грамотеев вроде Сандрика. Они считали управляющего консерватором, Кузьмина это смешило, в сущности, если разобраться, ему, Кузьмину, никогда не приходилось встречать настоящего консерватора. Если руководитель держался за старое, значит, его вынуждал план, лимиты, премиальные, словом какие-то серьёзные обстоятельства. Когда ему удавалось побороть эти обстоятельства, он считался новатором. Кузьмин и сам бывал и тем и другим; чтобы протолкнуть новое, приходилось обычно так или иначе нарушать инструкции, правила, а это не всегда хотелось.

Объяснять всё это было бесполезно.

Зубаткин — чистоплюй, Кузьмин давно раскусил эту публику: сидят, пьют чёрный кофе в баре напротив Управления, щеголяют друг перед дружкой своей принципиальностью и культурой и, конечно, уличают начальство в невежестве. Им что, они не отвечают за пуск объектов, им не приходится крутиться между местными властями и министерством, улаживать отношения с поставщиками, унижаться перед банком...

Кузьмин дожевывал последний бутербродик, раздавил языком последнюю икринку, вздохнул:

— Да разве вас, математиков, не ценят? Икра всех цветов. Сиди, вычисляй. Машины купили...

— Вот именно, вычисляй и не рыпайся, — не мирясь, наскакивал Зубаткин. — Куда я могу выдвинуться? Хоть семи пядей во лбу. Пока место не освободится, жди. Какая у меня перспектива? А тут, по крайней мере, кандидатская. Докторская. Есть движение. Честное соревнование. Горлом тут не возьмёшь. Здесь, в науке, решают знания и способности... Так ведь?

В молодости Кузьмин сам твердил примерно то же, а теперь он от молодых слышал эту песню — выдвинуться, скорее, скорее.

Служит в расчётном отделе некий Саша Зубаткин, молоденький инженер, тот самый, что в школе быстрее всех решал задачки, первым руку тянул, на олимпиаде районной небось грамоту получил. В институте тоже шутя и играя экзамены сдавал. Мечтал науку перевернуть, а направили его в трест.

И вот день за днём просиживает он в комнате 118, заставленной столами и кульманами, подсчитывает те же нагрузки-перегрузки, строит кривые. И никаких теорий и проблем. Требуется сдать вовремя расчёты, аккуратно оформить, завизировать. Сатиновые нарукавники. Бланки слева, скрепки справа. В верхнем ящике таблицы, в нижнем — полотенце с мыльницей. Чем меньше в тебе ума выступает, тем спокойней. У этого Зубаткина главная мечта — выбраться, пока не засосало. Как угодно, но выбраться в науку. Он убеждён, что там, в науке, он развернётся, там он расправит крылышки и воспарит.

Кузьмин вообразил себя на месте Зубаткина и проникся даже некоторым сочувствием. Во всяком случае, раздражение снял. Это у него был такой приём — вместо того чтобы распалиться, попробовать понять, в чём правда у другого, потому что Кузьмин убедился, что и у противника бывает всегда какая-то правда.

— Не творческая работа — это не работа, — сказал Кузьмин, — это служба, человек рождён для творчества, и тэдэ, и тэпэ, ох, как я вас понимаю, тем более что и почёта за службу не дождёшься, и деньгами обижают. А от творческой работы одно удовольствие. — И тем же притворно-сочувственным тоном продолжал: — Пусть другие себе вкалывают, корячатся, какие-то бедолаги ведь должны и с бумажками возиться, и арифмометр крутить, и наконечники паять. Кому что на роду написано. Белая кость и чёрная. Инженер — это ещё не человек: человек, по-вашему, начинается с кандидата наук.

Кузьмин посмотрел на Анчибадзе, и это было правильно — Анчибадзе решительно присоединился к нему:

— Совершенно заслуженно вы обвиняете: научные степени для некоторых как дворянское звание. Пожалованы навечно.

— Вот именно. Мы учёные! А какой учёный — неважно. Хоть сопливенький, но свой, своё сословие.

Сандрик, пощёлкивая длинным ногтем мизинца, милостиво улыбался. Что бы Кузьмин ни говорил, как бы он ни был убедителен, ничего это не может изменить, он, Зубаткин, молод, талантлив, перед ним будущее, и, значит, он прав.

Превосходство это бесило Кузьмина:

— ...которые гонятся за диссертацией, я их не осуждаю, им действительно иногда утвердиться надо. Мне другие отвратны. Те, что на таланте играют. Раз они талантливы, им всё можно, всё прощается. Мерзавец, подонок — это неважно, важно, что он талант. Он

уравнение решил.

— Чего это вы так разгневались? — неуязвимо удивился Зубаткин, но вдруг посерьёзней, что-то зацепило его. — Ах да, понятно... Посредственностью командовать удобнее, она послушна, она поперёк не пойдёт, не то что талант. Тот, кто талантлив, тот критикует, у того свои мысли, мнения, он себе цену знает. Если уж на то пошло — да, ему можно прощать! Следовало бы прощать! Потому что талантливый человек, он ради творческих своих достижений жизнь кладёт!

Кузьмин переглянулся с Анчибадзе взглядом соумышленника, хмыкнул.

— ...Тот, кто не хлебнул этого творческого дела, тому никогда не понять, — с вызовом сказал Зубаткин.

Короткие седеющие волосы Кузьмина свалились на лоб, брови нависли, чем-то напоминал он сейчас усталого зубра.

— Ведь ценны результаты... — подождав, сказал Зубаткин. — Вот Яша Колесов жену с детишками бросил, типичный подонок. А какую штуку придумал с ускорителем!

— Ну и что! — закричал Анчибадзе. — Его это не извиняет. С ускорителем не он, так Малышев дошёл бы. У них группа — будь здоров. А то, что он сукин сын, это для меня решает.

О каком Колесове они спорят, Кузьмин не знал. Ему стало скучно. Сколько их перебивало у Кузьмина, таких вот молодых, заносчивых, всезнающих, обо всём имеющих категорические суждения...

— Да, всё относительно, — сказал он невпопад на обращённый к нему вопрос. — Лет десять назад, на Урале, я предложил трансформаторы подвешивать. Бился, доказывал. А потом меня начальником строительства назначили...

Две девушки в коротеньких юбочках прошли мимо, не оглянувшись.

— И что? — спросил Анчибадзе.

— Ничего. Отклонил эту идею.

Анчибадзе выгнул толстые брови, захохотал.

Прозвенел звонок. За соседним столом поднялся седокудрый, величественный, типичный профессор.

— Шеф отплывает, — сказал Анчибадзе. — Нам пора.

— Это Несвицкий, Пётр Митрофанович, — хвастливо сообщил Зубаткин. Слыхали?

— Несвицкий? — удивился Кузьмин, и перед ним возник моложавый красавец оратор, артист. Лекции его походили на спектакль... Каждый раз он появлялся в новом костюме или хотя бы в новом галстуке. Он любил рассказывать исторические анекдоты, вставлять французские словечки. Первокурсников он пленял нацело. С той поры к Кузьмину и привязалось его легкомысленное «ла-ла-ла».

Тот Несвицкий возник и слился с этим стариком, исчез в нём. А если б Зубаткин не назвал его фамилии... Сколько вот так же проходит других людей, с которыми он когда-то учился, дружил, которые учили его, — людей, тщательно загримированных временем.

— Я поначалу пойду к автоматчикам, — сказал Анчибадзе.

— А я послушаю Нурматыча.

Они встали.

— Встретимся... в перерыве, — вежливо и безразлично сказал Зубаткин, уже улыбаясь кому-то.

Кузьмин неопределённо пожал плечами.

Он сидел, размышляя о том, что если бы его кто-то искал, то уже мог найти...

Когда-то он мечтал стать разведчиком. Он воспитывал в себе невозмутимость, наблюдательность и хладнокровие. Кроме того, в разное время он собирался стать историком, шофёром, артистом, математиком, охотником. Он хорошо стрелял, изучал римскую историю, играл в драмкружке. Наверное, он мог быть и неплохим разведчиком. Он, например, чувствовал, когда на него смотрели. Или когда о нём говорили.

Буфет опустел. Теперь к Кузьмину свободно можно было подойти. Никто на него не смотрел. Никто за ним не следил. О нём забыли. Он нащупал в кармане номерок от пальто, вытащил, демонстративно повертел им, встал и направился в гардероб. Никто его не остановил. Увидев телефон-автомат, он позвонил домой. Трубку взял младший.

— Ну, как вы там? — спросил Кузьмин.

— Нормально. Ты скоро?

— Меня никто не спрашивал?

— Нет. Папа, разве на юге бывает полярное сияние?

— Бывает, — сказал Кузьмин. — Всё бывает. Вот что, тут у меня одно совещание, — он почему-то понизил голос, — я задержусь.

В трубке что-то крикнула Надя, видимо из кухни.

— Мама спрашивает, ты кушал?

— Очень даже, — сказал Кузьмин.

За регистрационным столиком стоял тот бритый контролёр, в руках у него были списки. Он разговаривал с девушкой, и оба они смотрели через пустое фойе на Кузьмина. Он видел, как движутся их губы. Если б он был глухонемой, он бы мог разобрать, о чём они говорят. Кузьмин улыбнулся — получалось, что, если бы он был глухонемой, он лучше бы слышал...

Он был полон нерешительности, однако со стороны движения его казались обдуманно и единственными. Зачем-то он поднялся на второй этаж и пошёл по коридору, вдоль строя высоких, крашенных под дуб дверей. На каждой двери белела приклеенная картонка с наименованием секции. Прочитав название, Кузьмин осторожно приоткрывал дверь, сквозь щель видны были задние ряды аудитории. За длинными столами сидели старые и молодые, где редко, где густо, где царил тишина, где переговаривались, не слушая докладчика. Твёрдое лицо Кузьмина обмякло, как бы расплавилось, ему приятно было вот так идти вдоль дверей, вдыхать душноватый запах аудиторий, приятны были обрывки фраз лекторов, развешанные таблицы, пустынно-коридорная робость опоздавшего. Его забавлял этот студенческий невытравимый страх, теперь уже нестрашный, а всё страх.

«Оптимальные процессы», — прочёл он на картонке. Постоял, чем-то зацепившись. Он понятия не имел, почему он выбрал именно эту секцию. Никогда впоследствии он не мог объяснить внутреннего толчка, который заставил его войти. Виновато пробрался в задний ряд, уселся и стал слушать. У протёртой коричневой доски докладывал молоденький узбек. Кузьмин полистал программку: Нурматов. Вспомнил, что слышал эту фамилию от Сандрика, искал глазами и впереди себя увидел гибкую спину Зубаткина, кругленькую просвечивающую на макушке плешь. Возможно, сам Зубаткин не знал про эту лысинку...

Слушали Нурматова внимательно, один Кузьмин ничего не понимал. Глаза слипались. Очнулся от собственного всхрапа, испуганно оглянулся, покашлял, выпрямился, уставился на исписанную доску. Когда-то у них в группе был парень, который умел спать с открытыми глазами. Сидел, тараща глаза на доску, изображал само внимание, при этом сладко спал. Однажды, после лекции, они его не разбудили, так и оставили...

Кузьмин глубоко вздохнул, стараясь выбраться из вязкой сонливости, ему бы уйти, вместо этого он напрягся, стараясь что-то понять, прислушался к резкому акценту докладчика.

В прошлом году Кузьмин почти месяц провёл в Бухаре, на комбинате, налаживая там электрохозяйство. Жил он у мечети Колян. Во дворе мечети помещалось медресе, там была натянута сетка, и будущие муллы неплохо играли в волейбол. По вечерам приходили братья Усмановы. Пили чай и разбирали схемы. Младший восхищал Кузьмина своими способностями. Кузьмин уговаривал его идти учиться. Усманов медленно качал головой — зачем учиться? Диплом? Зачем диплом? Иметь диплом — значит, привязать себя на всю жизнь к одной специальности. Одна жена, одна специальность, одна работа... Зачем? Ведь жизнь тоже одна... Кузьмина веселила вольность его суждений. Стены мечетей и минареты были выложены фигурным кирпичом. Рисунок орнамента не повторялся, и в то же время в этом разнообразии существовал ритм, скрытый геометрический закон гармонии. Свобода художника тоже подчинялась каким-то законам... Солнце слепило глаза. Они сидели в лодке и играли в карты. На носу покачивалась женщина, лицо завешено, она грызла сухарик. Неприятный был звук, а ноги женщины были тёмные, как доска... Это хрустел мел под рукой Нурматова. А лодку укачивало, и вода прибывала, тёплая, зелёная, полная рыб, спины у них были гибкие, острые, как у Сандрика...

Кузьмин вздрогнул, открыл глаза. Что-то произошло. Нурматов писал на доске, все его слушали, вроде ничего не изменилось, и тем не менее что-то случилось: Кузьмина как током передёрнуло, и сон пропал начисто. Он выпрямился, и тут снова услышал свою фамилию. Он понял, что слышит её снова, второй раз: «...применим вывод Кузьмина для общего случая». У Кузьмина обмерло внутри, как это бывало во сне, когда он падал, погибал... Он подумал, что ещё спит, то есть ему снится, что он проснулся, на самом же деле он спит.

— ...функция получается кусочно-непрерывной... Задачу об условном минимуме можно свести к задаче о безусловном минимуме...

На плохо вытертой доске появлялись белые значки, крошился мел, стеклянно царапал. Кузьмин закрыл глаза, снова открыл и удивился тому, как он попал сюда, зачем он сидит здесь и мается.

Он воровато оглянулся. Никто на него не смотрел. Тогда он несколько успокоился — мало ли на свете Кузьминых. При чём тут он? Теперь его даже подмывало спросить, что это за штука «безусловный минимум функционала». Как всё начисто забылось! Он был уверен, что когда-то слышал это выражение. На доске было несколько уравнений, они тоже что-то напоминали...

Он прислушивался к себе, пытаясь почувствовать хоть что-то, что должно было ему подсказать... Наклонился к соседу:

— На что это он ссылался? Что за вывод?

— Вот, сверху написано... Вообще-то, немножко рискованное обобщение.

— Вот именно, — подтвердил Кузьмин. — А как он назвал уравнение?

— Кузьмина... Он же в начале приводил.

Фамилия прозвучала отчуждённо. Нечто академичное и хорошо всем известное. Невозможно было представить себе, что это о нём так... И прекрасно, и слава богу, просто совпадение, успокаивал он себя, потому что не могло такого быть, не должно. Да и откуда Нурматов мог узнать про тот злосчастный доклад? Но тут память вытолкнула из тьмы какие-то «Труды института» в серой мохнатой обложке. Работа была напечатана среди прочих докладов, и был скандал. Это Лазарев её пробил. Да, да, Лазарев, занудный старичок-моховичок, вечный доцент: «Я вас прошу, в смысле — умоляю», «Нам, скобарям, Пирсон не указ». Так вот откуда критерии Пирсона, и ещё Бейесовы критерии, «бесовы»... Они невпопад посыпались, все эти имена. И ощущение духоты того каменно-раскалённого городского лета, и пустое общежитие, и голые окна, завешенные от солнца газетами, и газетами застеленный коридор, потому что шёл ремонт, побелка... В словах Нурматова что-то забрезжило, белёсые знаки на доске стали чётче. Кузьмин ещё ничего не понимал, но глухо издали подступал смутный смысл, как если бы среди тарабарщины донеслось что-то по-славянски. Но всё это не обрадовало, а наоборот, ужаснуло его.

Стало быть, тот позор не забыт, снова выплыло, это о нём, раскопали, нашли... Он ещё надеялся на какое-то чудо, но знал, что всё сходится, они сходились к этой доске с разных сторон: тот молоденький Кузьмин, студент пятого курса, в отцовском офицерском кителе с дырочками от орденов, не знающий, что такое усталость, и этот, нынешний. И Несвицкий, который, наверное, помнит, и, может, ещё другие...

С утра он уходил в Публичку. Брал словарь и французские журналы. А потом журналы уже не помогали, надо было карабкаться самому. Ах, как его заело. Задача, которую дал Лазарев, давно была решена, но она упиралась в другую, а та — в критерии для всех электродвигателей. К ночи он возвращался пешком на Лесной и во сне продолжал соображать, вернее томился. До сих пор математика давалась ему так легко, что он не понимал, как у него может что-то не получиться. А тут всё застопорило. Время остановилось. Выключилось. Тело его продолжало механически питаться, ходить, что-то делать... Идея была сумасшедшая, он знал, что это полный бред, а может, не знал, может, это потом, когда его раздолбали, ему стало казаться, что он знал. Теперь уже не восстановить, во всяком случае, он не убоился. Тогда он ни черта не боялся. Сила его была, как говорил Лазарев, в невежестве, он не следовал никаким определённым принципам. «Интуиция! — восхищался Лазарев. Пусть не вполне... Пусть абсурдно! Вас не пугает абсурд! Ваше преимущество, что вы думаете около!» Лазарев суетился вокруг него, гонял, нахваливал, обещал сенсацию. «Думает около» — это Кузьмин запомнил. Все думали напрямую, а он около. Лазарев нагнетал азарт, подкручивал, Кузьмин подал свою работу на конкурс, выступил с докладом на институтской конференции. Аудитория была переполнена. Одни ждали триумфа, другие скандала. Если б не самоуверенность, его бы покритиковали, доказали бы, что он подзагнул, и всё, но тут ему учинили форменный разгром. По-видимому, он держался невыносимо нахально, — чего стоило его замечание в адрес такого корифея, как Пирсон. Он включал Пирсона как частный случай. Конечно, это не могло не раздражать. Сам Лаптев возмутился. Он высек Кузьмина как мальчишку. Убедительно. Лихо. Под общий хохот. Интуиция выглядела беспомощным лепетом. Это был полный провал. На Лазарева было жалко смотреть. И без того его не любили, Кузьмин понял, что связался с неудачником. Мысленно он свалил всё на Лазарева и махнул на эту работу. Жаль только, что лето пропало. Мог уехать на ДнепрогЭС с ребятами, с Надей. Она отправилась ведь назло ему. С самого начала она не верила в эту затею, не верила и в Лазарева и в способности Кузьмина: «Тоже мне

Чебышёв!»

Ему важно было доказать ей, получить первую премию. Чтобы вышла многотиражка со статьёй о нём и его портретом. Надя пришла на конференцию, вся группа их пожаловала, она сидела наверху, и Кузьмин, взойдя на кафедру, сразу отыскал её и, докладывая, торжественно поглядывал на неё: загорелая, довольная собой, а он бледный, исхудалый, измученный наукой, — всё должно произойти весьма поучительно. Слушая аплодисменты и похвалы, она пристыжённо опустит голову, он подойдёт и напомним про Чебышёва, нет, лучше он в заключительном слове поблагодарит тех, кто верил в него, и назовёт и её, Надежду Маслакову, ибо своим неверием она тоже помогала ему. Вот какие у него были планы... А когда всё это затрещало и посыпалось, он уже не видел её, он ни разу не решился взглянуть в ту сторону и не знал, смеялась ли она вместе со всеми, аплодировала ли Лаптеву...

В последующие два часа жизнь была закончена, потеряла смысл и цель, он решил бросить институт, уехать матросом в Мурманск, шахтёром в Донбасс, оставить письмо, исполненное смирения. Горе побеждённого: он бездарность. Где нет ничего, там нет ничего. Он просил забыть его. Несколько лет он работал простым матросом, похоронив своё будущее... Он опустился, запил... Нет, он держался мужественно, скромно, и... Что было бы дальше неизвестно, поскольку в общежитие явилась Надя и судьбу его пришлось переделывать заново. А тут ещё мешали носки, которые сушились на батарее, и он пытался незаметно спрятать их. Выяснилось, что можно никуда не ехать... вот дипломный проект у него подзапущен, это действительно, и надо нагонять. Надя взялась помочь ему. Она хорошо чертила. Допоздна они просиживали в дипломантской, потом бежали в гастроном, покупали копчушки. С математикой было покончено. Эта наука не для него.

Прекрасно устроена человеческая память, всё неприятное удаётся напрочь забыть, сохраняется милая ерунда — носки, копчушки... Без забывания нельзя. Забывание — это здоровье памяти. И он постарался поскорее забыть эту историю...

Нурматову задавали вопросы. Рыжеусый француз, выбежав к доске, застучал пальцем, заверещал, несколько раз выпалив «Ку-у-сьмин» с прононсом и буквой «с», так что фамилия вспыхнула латинским шрифтом, загорелась неоновой рекламой...

За председательским столиком Несвицкий односложно переводил пересказывал самую суть французской речи, отделяя разными улыбками своё мнение, и про Кузьмина тоже пронизательно усмехнулся. Ясно, что Несвицкий всё знает, сейчас он с усмешечкой покажет пальцем на Кузьмина и начнётся...

Давний молодой стыд охватил Кузьмина, как будто предстояло пережить всё сначала, — сейчас это было бы ещё тяжелее, чем тогда. Он хотел встать, выйти, — и не двинулся с места. Оцепенев, он смотрел, как Нурматов наступал на француза, выкрикивая:

— ...Простите, не решает, а позволяет решать! Позволяет!

Это они говорили о методе Кузьмина.

Кажется, Кузьмин начинал понимать, что происходит нечто обратное, совсем иное, чем двадцать с лишним лет назад. Он не верил себе, внутри стало холодно и пусто, не было ни радости, ни удивления, только щёкам было жарко.

Взгляд Несвицкого почему-то остановился на нём. Может быть, Кузьмин открыл рот, или приподнялся, или ещё что.

— Пожалуйста, у вас есть вопрос?

— Нет... то есть да.

К нему обернулись. И Зубаткин обернулся.

— Эта работа... Кузьмина опубликована? — спросил он, слегка запнувшись на фамилии, всё ещё надеясь на какую-то ошибку, путаницу.

— Конечно. В Трудах Политехнического института. — Нурматов назвал год, выпуск.

— Спасибо, — сказал Кузьмин.

Он сел. «Ах, так твою перетак», — бесчувственно повторял он, больше ничего не слушая.

Когда объявили перерыв и слушатели потянулись в коридор, Нурматов остановил Кузьмина, протянул фотокопию статьи.

— Простите, это вы интересовались?.. Вот, пожалуйста. Теперь многие на неё ссылаются. После того, как я запустил её на орбиту. — Нурматов посмеялся над своей хвастливостью. — Я тоже случайно обнаружил её. Кое-что устарело, есть и ляпы, но сама идея — вполне.

— Я посмотрю. Разрешите?

Он прошёлся по коридору за поворот, в застеклённый сверху донизу эркер. Там было прохладно и тихо. Статья на твёрдой фотобумаге выглядела неузнаваемо. Сборник Кузьмин давно потерял при своих частых переездах и сейчас недоверчиво смотрел на длинные выкладки, недоумевая, как он мог когда-то во всём этом разобраться.

«Функция правдоподобия...» — правдоподобия, что бы это могло значить?

«Исследовать хи-квадрат нет оснований» — откуда он мог знать, есть основания или нет их? Сколько уверенности! Он с уважением погладил холодный глянец, перевернул страницу, собственные знания изумляли его.

Он как бы разделился и не мог совместить того мальчишку Кузьмина с собою, то есть всерьёз отнестись к тому сосунку.

Вот они, критерии... Господи, неужели он всё это написал своей рукой и мог вычислять, решать? А сейчас ничего, ни бум-бум. Грустное зрелище. Кроме фамилии, ничего общего не осталось. Только фамилия их и связывает.

— А я вас ищу, — раздался за спиной голос Зубаткина.

Мускулы Кузьмина напряглись, он ответил, не оборачиваясь:

— Знаю, что ищете, потому и укрылся.

Сбитый с заготовленной фразы, Сандрик потоптался, но не ушёл.

— Ага, знаете!.. Он зашёл сбоку, чтобы видеть лицо Кузьмина. Интересуетесь статьёй?.. А как вам доклад Нурматова? Произвёл?

— А я в этом ничего не смыслю.

— Так, так, — весело приплюсовал Зубаткин к чему-то. Значит, не смыслите? И всё это случайность?

— Что именно?

— Да всё это... так сказать, совпадение. Надо же. Какое стечение случайностей.

— Бывает, — осторожно сказал Кузьмин.

Не понимаю, передо мной-то вы зачем? — задумчиво спросил Зубаткин.

Кузьмин помахал перед собою оттиском, обдувая лицо, потом, подозрительно оглянувшись, спросил:

— А вам он известен, вы разве знаете?

Зубаткин невозмутимо кивнул и, тоже понизив голос, сказал:

— Догадываюсь... Очевидно, это ваш брат?

— Почему же брат? — вырвалось у Кузьмина. — А может, это я?

Тогда Зубаткин отступил, чтобы увидеть Кузьмина полностью, не только лицо, но и руки с оттиском статьи, и ноги в рабочих ботинках, заляпанных цементом, и, как бы сличив его с некоторым образцом, Зубаткин успокоился.

— Нет, не вы... — Зубаткин рассмеялся. — Какой же вы математик!

— Значит, не похож?

Извините... — Зубаткин развёл руками. — Но разве вас это обижает? Не должно обижать. А? Да и сами вы сказали, что ничего не смыслите в этом.

— Мало ли что сказал...

Кузьмин отвернулся — кто бы мог предположить, что недоверие Зубаткина так уязвит его.

— Ого! Настаиваете, что вы и есть этот... Забавное допущение, — и в подтверждение Зубаткин энергично потёр руки. — Понимаю. Примеряете как бы на себя корону, и как, нравится? То-то же! Все хотят быть талантливыми. Но... не у всех получается. Тогда начинают говорить о нравственности и тому подобной фигне. Да, да, фигне. Мне, например, неважно, кто этот Кузьмин, неважно! — подчеркнул Зубаткин. — А важно, что он сделал! — И громко прищёлкнул пальцами, как бы окончательно изобличая Кузьмина.

Большая голова Кузьмина согласно кивала, но вдруг он, будто вспомнив, округлил голубые свои глаза и сказал тихо:

— А инициалы-то сходятся.

— То есть как?

— Видите «пэ»? И я «пэ» — Павел Витальевич.

— Да, да, Павел Витальевич, — обрадовался, вспомнив, Зубаткин. Точно, Павел Витальевич. Но как же так?... Мало ли... Нет, не представляю. Позвольте, это же какая-то ерунда, — бормотал он, всё более растерянно глядя на Кузьмина, как будто тот поднимался в воздух, превращался в дракона, становился двухговым.

— Фантазии у вас маловато, — грустно сказал Кузьмин. Я так и думал: чего-то вам не хватает.

Он вздохнул и пошёл назад, к аудитории, Зубаткин за ним, ошеломлённо и молча, не смея отстать, не в силах оторваться.

У дверей аудитории стояли Нурматов, Несвицкий и ещё двое. При виде Кузьмина они

замолчали. Он замедлил шаг, и Зубаткин тоже замедлил шаг.

— Спасибо, — сказал Кузьмин и протянул Нурматову оттиск.

— По критериям у Кузьмина это единственная работа, — произнёс Нурматов, как бы приглашая его высказаться.

Кузьмин молчал. Что бы он ни ответил, всё могло оказаться странным, глупым после того, как Зубаткин скажет: «А вот и автор, познакомьтесь». Со страхом и восторгом. Или с недоверием: «Павел Витальевич утверждает, что он и есть тот самый Кузьмин». На это Кузьмин пожмёт плечами: да, было дело. Конечно, сначала никто не поверит, но он и не станет доказывать, скажет спросите у Лаптева. И оставит их в полной загадочности. Уйдёт, не отвечая на расспросы... Дальше было неясно, виделся только этот первый страшновато-сладостный миг общего изумления, своего торжества, пристыжённость Зубаткин, безмолвная сцена и уход...

— ...Больше я ничего не нашёл, — говорил Нурматов. — Жаль, что он бросил этим заниматься.

— Где он теперь? — спросил кто-то.

Сбоку, над плечом Нурматова, поднялось лицо Зубаткина, в глазах его гудело пламя, как в прожекторах.

— Не знаю, — сказал Нурматов.

Кузьмин приготовился. Наступило самое время вмешаться Зубаткину. Самый наивыгодный, самый эффектный момент. Но Зубаткин прищурился, сочные губы его сжались в тонкую задумчивую полоску. Он решил выждать. Он упёрся глазами в Кузьмина, как бы требуя, понуждая его самого открыться, то есть назваться.

Кузьмин молчал.

Не то чтобы раздумывал или колебался, нисколько. Он понимал, что ему придётся признаться. Нет, тут было другое: он вдруг ощутил приятный вкус этих последних мгновений и поигрывал ими.

Как будто он держал палец на кнопке. Такое же острое и сладостное чувство приходило перед пуском нового цеха или агрегата, когда напряжённые месяцы монтажа и наладки, вся эта канитель, безалаберщина, из которой, казалось, не выбраться, наконец завершается вот этим нажатием кнопки, и сейчас лягнут пускатели, загорятся лампочки, взвоят моторы, и цех впервые оживёт, задвигается. Все глаза устремлялись к его пальцу, к этому последнему движению, с которого начнётся существование всего организма станков, соединённых кабелями, щитами, наступит летосчисление работы цеха, с горячкой планов, срочных заказов, авралов и прочими страстями производственной жизни, уже неизвестной монтажникам. Всякий раз было весело и чуть страшновато, хотя, вообще-то, уже привычно.

Сейчас же приятнее было не нажимать эту кнопку, а тянуть. Растягивать эти нити, пока он стоит перед всеми, и никто не догадывается, что это и есть тот самый Кузьмин. Даже Зубаткин ещё не верит. Можно признаться, а можно и не признаваться, остаться в безвестности, — он был хозяин, и он смаковал чувство своей власти.

Сойдясь глазами с Зубаткиным, он через его удивление ощутил на своём лице явно неуместное выражение удовольствия.

— Посмотрите, что он пишет, — продолжал Нурматов, отыскав нужную страницу, и, подняв палец, прочёл: — «Есть основания считать возможным построить общую теорию таких систем». Каково? А? Он почти дошёл до минимального критерия. Уже тогда. Значит, у него

была идея...

— Написать всё можно, — сказал Зубаткин. — А что он имел в виду?

...Бог ты мой, да разве можно вспомнить, что он имел в виду. Какие мысли тогда бродили в его голове? Может, и были какие-нибудь прикидки, соображения, а может, и прихвастнул для авторитетности. Он вдруг сообразил, что тот Кузьмин способен на подвох, и придётся отвечать за него, — с какой стати? Тот, молодой Кузьмин, увиделся ему человеком ненадёжным, опасным, с ним можно было влипнуть в неприятную историю...

— Э-э, нет, Зубаткин, у истоков всегда виднее, — напевно сказал Несвицкий. — Возьмите Ферма. Это же нонсенс! Сидел, читал старика Диофанта и писал всякие примечания на полях, в том числе свою формулу, и сбоку нацарапал, что для доказательства, мол, нет места. Действительно, на полях не развернёшься. И вот оттого, что не было у него под рукой листка бумаги, триста лет бьёмся с его теоремой, ищем доказательство. И так, и этак. Милая история? А если он и в самом деле знал?..

Красивые легенды эти Кузьмин помнил со студенческих лет. И про Римана, который открыл свойства каких-то функций, хотя открыть вроде бы не мог, потому что должен был использовать для этого принципы, не известные в его время. «Такое возможно только в математике, — как любил говорить Несвицкий, — ибо эта наука выше всякого здравого смысла».

— С Ферма не спросишь, — сказал Зубаткин. — А вот Кузьмин, почему бы не запросить его? — И сделал многозначительную паузу.

— Ты что ж думаешь... — начал Нурматов, но в это время Несвицкий поднял ладонь:

Кузьмин... Кузьмин... Подождите, Зубаткин, я же знал его... — он закрыл глаза. — Ну, конечно, мы с ним однажды в Крыму... ла-ла-ла... Он же у Курчатова был, — Несвицкий открыл глаза, заулыбался. — Петь он любил. Как же, знал я его. Остроумнейший человек. Умер. От лейкемии. Да, да, вспоминаю. Мне говорили. Чуть ли не дважды лауреат, но засекречен. Все они были засекречены.

«Да вы что... — чуть не выкрикнул Кузьмин, но почувствовал, как неизъяснимое облегчение охватило его. — И чёрт с ними, не буду поправлять, как идёт, так пусть и идёт, умер, и ладно...» Всё правильно. Хорошо, что не признался. Первым делом бы в него вцепились: какие такие общие принципы вы имели в виду? Какие критерии, объясните, пожалуйста, Павел Витальевич? Красиво бы он выглядел — собственной работы не пересказать. Дурак дураком, голова решетом. Этим ребятам только на зуб попади, они сделают из него анекдотик. Они его распишут: живой мамонт, чучело математика...

Зачем же вы меня разыгрывали? — на ухо сказал ему Зубаткин. — А я-то почти поверил... — Он двигался вслед за Кузьминым, но почему-то шагов его не было слышно, только притушенный голос шуршал в ухо: — Но я не такой лопух. А поверил потому, что странное выражение у вас появилось. И сейчас вот, когда Несвицкий говорил, тоже вы не соответствовали. Верно? Что-то тут не то. Павел Витальевич, вы, кажется, Политехнический кончали? В эти же годы? Кто-то мне говорил...

— Было дело, — рассеянно подтвердил Кузьмин, продолжая идти.

— Тогда вы должны были его знать.

— Кого?

— Ха-ха. Тёзку вашего. Полного тёзку. Инициалы ведь совпадают. Согласитесь, это

редкостный случай.

— Да мало ли у меня однофамильцев. Может, и знал.

— Не понимаю... Ну хорошо, но зачем вы морочили меня. Вы же солидный человек.

— Послушайте, Зубаткин, как вы считаете, Нурматов правильно оценивает, в общем и целом.

Они отошли далеко и стояли сейчас одни перед лестничной площадкой.

Зубаткин ответил не сразу.

— В общем и целом... — Он остановился размышляюще, как над шахматной партией. — Прикидываете, значит, ценность работы? Ну что же, допустим, в общем и целом Нурматов прав, что тогда?

— А если он преувеличивает! Увлёкся? Перехватил?..

— Не думаю. Всё же вы имеете дело с точными науками.

— Мало ли... Не такие, как Нурматов, ошибались. Академики ошибались.

— Видите ли, Павел Витальевич, я примерно этой областью занимаюсь, так что мне сподручнее судить, чем вам, — заострённо-обиженным голосом проговорил Зубаткин. — Если бы вы разбирались, я показал бы вам, что вообще это может стать новым направлением. И плодотворнейшим! Не стало, но может!

— Надо же! — И глаза Кузьмина полузакрылись. Откуда-то издалека горячая, ярко-синяя волна накатила, подняла его, закружила в пенном шипящем водовороте.

— Что с вами? — спросил Зубаткин.

Кузьмин слабо улыбнулся, еле различая Зубаткина с высоты, куда его несло и несло...

— Ах, Зубаткин, Зубаткин! — крикнул он. — Хотите... я вам отпуск дополнительный устрою? Хотите, подарю вам чего-нибудь... Ну, что вы хотите?

— Отпуск годится, сказал Зубаткин. — А всё-таки, в чём дело? Кто такой Кузьмин?

— Вот чудак, да я, кто же ещё!..

— Нет, я про настоящего Кузьмина.

— Что значит настоящего? — Кузьмин поморщился, не хотелось ему сердиться. — А я кто, по-твоему? Он настоящий, а я, выходит, не то, подделка, чучело? Так ты меня представляешь?

— Зачем же... Если вы настаиваете... — как можно мягче уступил Зубаткин и пожал плечами. — Пожалуйста, что ж вы, давайте, объявитесь. Это даже интересно. Учитывая, что сейчас все накинутся на работу Кузьмина, расклюют, каждый кому не лень. Вам самое время предстать, выйти, так сказать, из небытия.

Глупейшая улыбка распирала Кузьмина, не было никаких сил удержаться.

— Вот именно из небытия, а ты как полагал? Ведь это всё равно что найти родных, ребёнка? Ведь всё оказалось... — Ему хотелось растормошить этого Зубаткина, обнять. — Мы с тобой сейчас возьмём и жажнем! Слушай, а что, если и вправду всё это хозяйство застолбить?

Развить как положено, дополнить и пустить в ход. На кафедре, может, сохранился полный текст... И чтоб никто! Ведь автор имеет право, верно? Все ахнут... представляешь?! Он мечтательно парил на своей солнечно-голубой вышине. — Как по-твоему, на сколько эта работа тянет?

— То есть в каком смысле? А-а! Вас интересует научная степень? подыгрывая, спросил Зубаткин. — Проценты желаете получить с капитала? Ну что ж, вполне можно докторскую степень присвоить. Без защиты. Гонорис кауза!

— Докторская... — Кузьмин тихо засмеялся. — Ох ты, гонорис. Молодец! Ай да мы! Вот вам всем! — Он счастливо прижмурился, затряс поднятыми кулаками.

Зубаткин опасливо попятился, а Кузьмин прыгал, наступая на него, и смеялся. Ему бы сейчас спуститься на четвереньки, пробежать по коридору, показывая язык всем этим профессорам, доцентам, оппонентам. Знай наших!..

— Кончайте! — озлился Зубаткин. — Чушь это, чушь, не верю я!

— Да я сам не верю! — счастливо пропел Кузьмин.

— Есть и другие имена на «пэ»: Пётр, например, Пахом!

— Прокофий, Пров, — смеясь, подкидывал Кузьмин. — Прохор, Пилат!

Смех этот ещё больше обидел Зубаткина, шея его вытянулась, он приподнялся на цыпочки, весь натянулся, чтобы стать вровень с Кузьминым, и голос его пронзительно взвился, задрожал:

— Разрешите тогда спросить вас: куда ж это всё делось, если вы настоящий? Где оно? Где он, ваш талант? Почему ж это вы не пользуетесь им? Отказались? Да разве это возможно! Нет уж, Павел Витальевич, если б это так было, то это преступление. Хуже. Безнравственно! Бессовестно это! За это я не знаю что...

— Ишь ты, хватил, — изумился Кузьмин.

— Потому что человек не имеет права! Перед людьми, перед обществом не имеет права! Да я и не поверю! — Что-то в нём задрожало. — Найти такое!.. Эх, я бы... Я ведь первый начал эту тему. Раньше всех! А меня обогнали. Потому что я ведь после работы мог... Урывками. Теперь вот Нурматов лидирует. Что же мне теперь? Думаете, в диссертации дело? Защита — это не хитро. Защищают все. Хочешь не хочешь — заставят, раз ты в аспирантуре числишься. А мне этого не надо! — Он приблизил лицо к нему. — Я хотел дос-тиг-нуть! Сделать! Иначе кокой смысл... — Он сорвался на отчаянье, маленький нос вспотел, плечи пиджака обвисли. — Вы, значит, могли, а я... Не верю я вам. Что бы вы мне ни доказывали! Почему ж вы забросили? Никогда не поверю! Всё это насочинили, — попробовал усмехнуться, прикрыться издёвкой. — Впрочем, вы не стесняйтесь. Я идеалист. Я не пример. Мало ли у нас докторов, так, на фу-фу. Они в математике смыслят не больше вашего. Важно хорошо оформить! Чтобы чин чином. Внешность у вас солидная, биография — я надеюсь... Производственникам сейчас зелёная улица...

Бедный Кузьмин, как хотелось ему сблечь своё праздничное настроение. Никак не мог взять в толк, с чего накинулся на него этот парень, чего он винтом извертелся, готовый укусить. В слова его Кузьмин и не старался вникать — злость и гадость, — и было жаль себя: за что его так? И это в то время, как ликующая душа его готова всех одарить, обласкать...

— Ну, чего ты, успокойся, — просительно сказал Кузьмин. — Не суди и не судим будешь. Вот как ты определяешь, что нравственно? Что у тебя, таблицы есть? Или формулы? Нурматов

обогнал, — ты считаешь, что он воспользовался ситуацией. Допустим. А если ты теперь воспользуешься, чтобы его обогнать? Это как будет считаться? Нравственно? Потому что «моё отдай»? При чём тут математика? Ведь не ради математики вы гонитесь. Кто первый. Кто больше... А если автор претендует на своё, кровное? Если у автора тоже имелись уважительные обстоятельства, по которым он, бедняга, прервал работу... — И Кузьмин, выбравшись на главную дорогу, возликовал и засиял благодушием. Тогда как быть? Как? Тогда ты должен помочь ему, автору, восстановиться в правах — это дело святое!

— Какому автору?

— Ему, — Кузьмин выразительно подмигнул. — Моему тёзке, тому самому, которого Несвицкий хотел причислить к почившим.

Шутливый тон помогла Кузьмину уклоняться от зубаткинских расспросов, отвечать не отвечая. Слова его обрели неожиданную двусмысленность, от которой у него самого кружилась голова. Правда вдруг становилась неуловимой, события теряли определённую...

— А вы сами разве уверены, что Несвицкий ошибся? — спросил Зубаткин и прикрыл глаза. — Может, всё же того Кузьмина в наличии не имеется? Он миф?

Неуверенная его усмешка высветила тёмную расщелину, которая отделяла нынешнего Кузьмина от молодого его тёзки. Не расщелину — пропасть между этими двумя разными людьми: ныне ничего не связывало их, кроме имени. Кузьмин мало что помнил о том молодом авторе, ничего не знал из того, что знал тот, он не был продолжением молодого, они существовали совершенно раздельно, независимо, они были чужие. Где он, тот Кузьмин? Умер? От него ничего не осталось, он начисто исчез, и не это ли имел в виду Зубаткин, и не потому ли и сам Кузьмин применял словечко «автор», невольно отдаляя себя от того Кузьмина? Так было легче освоиться с ним...

— Я до сих пор не уверен, что это был я, — признался Кузьмин.

— Я тоже, — иронически согласился Зубаткин, и Кузьмин почувствовал, что его откровенность выглядит для Зубаткина неубедительно. Но если бы даже ему удалось убедить Зубаткина, приводя подробности, свидетельства, то произошло бы обратное — уважение пропало бы. Сейчас интерес и уважение происходили у Зубаткина от тайны; этого самонадеянного, заносчивого парня, не считавшегося ни с какими авторитетами, волновала тайна Кузьмина, и сам Кузьмин чувствовал, что обладает властью. В руках его оказалась особая власть, не похожая на ту, какую он имел, — власть без должности, без прав, даже без знания... И тем не менее это власть, видно, как гипнотически она действует на Зубаткина, — он говорит и говорит, замороженно открывая Кузьмину план монографии, где будет история вопроса, статья Кузьмина, комментарии к ней... Лиловый оптический блеск появляется в его глазах, он ещё поёживается, словно входя в холодную воду, но остановиться не может: планы, планы... целая серия статей... привлечь группу молодых...

Примерно где-то здесь Кузьмин отключился. Он увидел Лаптева. Держась за перила, Лаптев поднимался по лестнице. Через каждые две ступеньки Лаптев останавливался перевести дыхание, можно было подумать, что он не решается приблизиться к Кузьмину, что он вот-вот передумает...

Появление Лаптева показалось Кузьмину знаменательным: именно в этот момент — стечение обстоятельств фатальное, перст судьбы, её указующий знак...

Между тем приди Лаптев минут на десять позже, Зубаткин успел бы сделать одно заманчивое предложение, и тогда Кузьмин наверняка затащил бы его к себе домой обговорить всё это, ибо Кузьмин был человек деятельный и понимал, что такие дела лучше не откладывать. А

дома, в кабинете у Кузьмина, где они сидели бы, висела застеклённая фотография — танк «тридцатьчетвёрка», и на нём ребята в шлемах. Зубаткин сразу приметил бы её, потому что точно такая же фотография хранилась у него в альбоме. Посредине капитан Виталий Сергеевич Кузьмин, кругом его рота, а тот, на башне, свесил ноги, щекастый, это механик-водитель Вася Зубаткин, и младший Зубаткин обязательно вспомнил бы тут рассказ отца, как комроты Кузьмин спас и машину при переправе через Лугу. Их отцы, молодые, белозубые, смотрели бы на них с летнего короткого привала 1944 года на окраине какой-то деревни... Под взглядом этим, конечно, весь разговор пошёл бы иначе.

Но показался Лаптев, и ничего этого не произошло.

На фотографии, что висела у Кузьмина, щекастый паренёк так и остался безвестным вместе с другими безымянными танкистами вокруг отца. Зубаткин тоже никогда не сроднил того капитана Кузьмина с этим. Дети не соединились через отцов. Случайность не произошла.

Появление Лаптева осталось для Кузьмина счастливой случайностью, и он понятия не имел, что другая, не менее поразительная случайность напрасно поджидала его на следующем перекрёстке.

— Мне пора, — сказал Кузьмин.

— На как же, а обсуждение?

— Вы идите... идите.

— Невозможно, Павел Витальевич. Сейчас самое серьёзное начнётся, — и Зубаткин, подбадривая, взял Кузьмина под руку. — Вам нельзя уходить. Мало ли что... в любом случае...

— В каком любом? Да плевал я, — сказал Кузьмин, следя за Лаптевым. Не смыслю я ничего в этих вещах. Слушай, друг, отцепись ты! — скомандовал он Зубаткину голосом, каким сшибал самых забубённых монтажников.

Первое чувство было — обида. «Вельможа и хамло, — успокаивал себя Зубаткин, — бурбон и свинья. Типичная свинья».

Шёл, оскорблённо вздёрнув голову, нижняя губа выпятилась, хорошо, что никто не встретился, он готов был взорваться, заплакать, натворить чёрт знает что.

— Мурло... — сказал он. — Всегда так: хочешь сделать человеку лучше, а тебя за это...

До самой аудитории он спиной, затылком старался чувствовать, смотрит ему вслед Кузьмин или нет. Он ждал, что Кузьмин опомнится, позовёт, догонит. И, войдя в аудиторию, сев, Зубаткин ещё поглядывал на дверь. То, что Кузьмин не появился, было нелепо. Беспричинно оборванная история лишалась всякого смысла. Словно он находился в каком-то угарном чаду, и теперь, когда чад рассеивался, увиделось, что не было во всём этом никакой логики, а сплошная несообразность. Зубаткин же любил во всём находить логику и считал, что всё подчиняется логике. Нормальное человеческое поведение, поступки высокие, чистые, подлые, любые поступки имели причины и мотивы. И, как правило, самые что ни на есть ясные, элементарные причины, которые можно предусмотреть, даже вычислить. Разумный человек — существо логическое. Только глупость нелогична.

Свою жизнь Саша Зубатки также строил по законам разума, и это было, между прочим, нравственно. То, что разумно, то всегда нравственно. Поэтому поступать надо разумно, не поддаваясь эмоциям.

Вот он, Александр Зубаткин, обладал немалыми математическими способностями и,

следовательно, имел полное право идти в науку, и прежде многих других. Талант разрешал ему добиваться своего, он действовал во имя своего таланта, он прямо-таки обязан был открыть дорогу своему таланту. Его способности должны были быть реализованы, это было выгодно обществу и науке, и он мог не стесняться в средствах. Он имел всяческое право использовать этого Кузьмина, вопрос заключался лишь в том — настоящий ли это Кузьмин. Сомнений хватало. Настоящий Кузьмин не стал бы уходить с обсуждения, настоящий Кузьмин должен был бы воспользоваться согласием Зубаткина, он принял бы помощь Зубаткина... Да и вообще, разве мог этот технарь, администратор быть учёным такого калибра, как Кузьмин, облик которого по ходу обсуждения становился как бы всё академичнее. Слушая, как Нурматов ловко отбивал наскоки француза, как Анчибадзе ссылаясь на Коши, на Виноградова и прочих Учителей, Зубаткин чувствовал, как оба эти Кузьмина расходятся всё дальше и совместить их в одном человеке становится всё труднее.

Этот инженер-монтажник явно не понимал ни черта, стоило вспомнить, как он вглядывался в текст статьи, губы шевелились, словно у малограмотного, еле разбирал незнакомые слова.

Но что же тогда означало то безумное блеяние, тот хохот счастливец?

Одно мешало другому, не складывалось, как будто Кузьмин нарочно сбивал с толку, петлял.

В аудитории было душно, Зубаткин словно со стороны увидел бледные, устремлённые на доску лица этих людей из разных городов и стран, соединившихся сейчас в один мозг... Старые, молодые, известные, начинающие — они не различались, они сливались в общем усилии добыть истину. Глядя на них сочувственно и почему-то с грустью, Зубаткин чувствовал обиду ещё и за них. Поступок Кузьмина ни за что ни про что оскорблял всех этих людей. Как будто Кузьмин высмеял жизнь каждого из них, обречённую на мучительные долгие поиски, на бесконечные переборы вариантов, на вычисления, которые заводят в тупик или отталкивают своим уродством. Это жизнь всеобщего непонимания, жизнь глухонемых, потому что окружающие никогда не понимают, чем же занимаются эти люди, да и сами они никогда не могут объяснить неспециалистам свои мучения или заставить их восторгаться красотой какой-нибудь теоремы.

Настоящий математик не мог бы позволить себе такое. Хотя крупному математику позволено многое. Кроме одного: не позволено ему забросить свой талант, в таком случае он лишается всех льгот...

Можно ли представить Виктора Анчибадзе вне математики? Где-нибудь на рыбацком сейнере — рыбаком, врачом, машинистом? Никакая специальность не налезала на него, невозможно было даже вообразить, о чём говорил бы Виктор, как он держался бы...

Так же, как не хватало фантазии представить Кузьмина у этой доски...

Зубаткин попробовал перевести всё на более привычный язык. Допустим, имеются Кузьмин-прим и Кузьмин-два. Между ними существует какая-то система отношений. Например, такая, какая имеется между актёром и сыгранным им в кино героем. А может, более сложная. Известно, однако, что оба они заинтересованы в реализации своей работы. Ни тот ни другой, очевидно, реализовать её не могли. И не могут, не в состоянии. Кто из них кто, в данном случае неважно, тут существенно, чтобы кто-то поднял архивы, прояснил возможности, занялся бы этим делом, имеющим большие перспективы. То, над чем он раздумывал в диссертации, вдруг соединилось с той практической частью работы Кузьмина, которой почему-то пренебрёг Нурматов. А ведь это было важно, — не варианты уравнений и разные изящные построения, а условия устойчивости крупных энергосистем, сложных регуляторов на быстродействующих аппаратах... Инженерство его давало себя знать, и он всё яснее ощущал огромные возможности, которые тут открывались. Ощутил первый, первый после Кузьмина, который в те годы, когда писал, наверное, и не мог осознать всего значения.

Зубаткину нравилось так думать. Перед ним появилась идея, которой он мог служить бескорыстно, отказавшись от собственной славы, всего лишь как человек, развивающий идеи некоего Кузьмина, его уполномоченный представитель, опекун его осиротелой, заброшенной идеи. Зубаткин сам не понимал, почему его так взволновала, воодушевила эта возможность и несомненно таинственно-романтическая судьба того Кузьмина.

Надо было выступить.

Никто не нападал на Кузьмина, но обсуждение уводило всех куда-то в сторону отвлечённых изысканий. Построения становились всё более вычурными и бесплодными.

Зубаткину нужны были сторонники. Он начал неловко, однако реплики Нурматова воспламенили его. Он возразил и вдруг понял, что наступила решающая минута его жизни. Только от него самого зависело большое дело. Мало быть учёным, надо уметь отстаивать своё убеждение. С каждым словом он освобождался от желания оглянуться на Несвицкого, на Нурматова, он говорил уже не для них, он говорил для тех немногих, кто пойдёт за ним. Он вдруг уверился в этом, — не могло так получиться, что он останется в одиночестве, что справедливость этого дела не найдёт защитников.

Его уверенность произвела впечатление. Сырые, не очень чёткие замечания тем не менее ошеломляли неожиданным своим поворотом, смелостью и даже ожесточением.

Когда он села на место, Анчибадзе тихонько спросил его:

— Чего это ты так навалился на Нурматыча? Ты же сам сомневался в некоторых вещах.

— А теперь не сомневаюсь.

— У тебя кое-что бездоказательно.

— Сейчас важно не знать, а чувствовать.

Получалось всё же нехорошо, они оба обещали Нурматову поддержать в случае чего, да и работа была приличная. Анчибадзе решил выступить, заглядить. Но Зубаткин сказал:

— Не надо. Поверь мне — не надо.

И такая убеждённость, даже значительность исходила от него, что Анчибадзе послушался. И не только Анчибадзе, все остальные, выступая, почему-то посматривали на Зубаткина, обращались к нему.

Он сидел выпрямившись, хмурый, глаза его смотрели куда-то вдаль, сквозь стену.

Несвицкий, заключая, вдруг, в нарушение всех правил, обратился к Зубаткину: вы ничего не хотите добавить? На что Зубаткин, не сразу, отвергающе повёл головой. При этом Несвицкий сконфузился, не понимая, зачем он это спросил.

Недавно ещё Зубаткин был горд, что допущен сюда, что сидит, как равный, среди всех этих князей и лордов математики, а теперь он знал лучше других, что надо, что не надо, что из этого должно последовать, и обязан был их направлять и поправлять. У него было право посвящённого, поэтому самого его перемена не очень-то удивила.

Когда началось следующее сообщение, Зубаткин и Анчибадзе вышли.

— Послушай, дорогой, что случилось? — спросил Анчибадзе.

— Знаешь, может, я и перегнул кое в чём, но иначе нельзя, не должно быть никаких

сомнений... — горячо сказал Зубаткин. — Есть возможность сейчас двинуть большое дело. Представь себе, что Кузьмин жив, под его руководством начинается специальная работа по устойчивости сложных систем. А? Энергетика! Космические аппараты! Тут государственно надо подходить...

В нём быстро зрела непреклонность человека, единственно знающего, что надо делать. Ему было жалко Нурматова, но другого выхода не было, необходимо всячески наращивать авторитет Кузьмина опять же ради дела. Значение этого дела Зубаткин понимал всё яснее, и появившись тут Кузьмин, и тот должен был подчиниться ему, тем более что это совпадало с его интересами. Ради него же делается.

— Меня из-за Нурматыча будут корить... — Зубаткин ударил себя в грудь. — Думаешь, легко? А что поделаешь. Мы ведь и в самом деле живём для чего, для науки. Выжимаем весь мозг, себя не щадим. Раз так, могу я не деликатничать, если это надо для дела? Могу я личным пожертвовать, даже, если хочешь, своей дружбой? Ведь не Нурматов жертвовал, а я. Он меня поносить будет, а я буду перед ним извиняться... — ему стало жаль себя: придётся многое отложить, пожертвовать многим, но он подумал об этом мельком и даже с лёгкостью, сейчас надо было уговорить Анчибадзе включиться в эту работу.

Напор его, как ни странно, действовал. Анчибадзе вдруг заинтересовался. Зубаткин, который привык к превосходству Анчибадзе, почувствовал свою силу. Он слышал свой громкий голос, слова, набегающие легко, быстро, и, мельком удивляясь себе, он подумал, что с этого момента всё изменится. Когда у человека появилась сформулированная идея, он способен одолеть любое сопротивление, любое препятствие...

II

Кузьмин спускался по беломраморной лестнице навстречу Лаптеву. Ноги его ступали по-кошачьи легко, пружиня на носках, почти пританцовывая, и белые крылья расходились за его спиной. Ему ничего не стоило взлететь, он ничего не весил. Лестница вибрировала под его лёгкими шагами, и балки вопили, он надвигался на Лаптева из мрака забвения, как рок, неотвратимый и грозный, как божья кара, как десница карающая...

Можно ли было подумать, что спустя десятилетия судьба разыграет такой пасьянс и выпадет эта сладостная возможность... А может, всё это и не так уж случайно, может, судьба терпеливо подстерегала этот миг, который должен был наступить. Как это у классиков: судьбы свершился приговор.

Он подумал, что всё же существует возмездие, некая справедливость, заменяющая господа бога, поскольку тот не способен уже действовать в наших условиях.

Обсуждение монографии, Зубаткин, аплодисменты — ничто не могло удержать его от встречи с Лаптевым. Именно сейчас, в этот наилучший, наивыгоднейший момент.

Он засмеялся и неожиданно для себя по-студенчески выпалил:

— Здравствуйте, Алексей Владимыч!

Лаптев остановился, навёл на Кузьмина жёлтые плоские глаза.

— Знаю, что знаю, а не вспомнить.

— Кузьмин, — и спустился на ступеньку, чтоб не возвышаться над стариком.

— Так, так, — не вздрогнул, не смутился Лаптев. Жёлтые глаза его застыли, как у ящерицы на солнце.

— Я из Политехнического, Кузьмин. Я был в семинаре у Лазарева.

— А-а, у Льва Ивановича. Как же, — слабо оживился Лаптев. — До сих пор его задачи рекомендую. А вообще-то, дрянцо был человечешко... — Бледные губы его неодобрительно поджались.

Кузьмин тоже нахмурился, вспомнив, как Лазарева выставляли на пенсию после выхода сборника. Он был составителем, и, несмотря на запрещение Лаптева, самовольно протолкнул кузьминскую работу. К этому прицепились и выставили.

С разных сторон они как бы рассматривали Лазарева.

— Вы где ж теперь? — осведомился Лаптев. Чувствовалось, что он не узнал Кузьмина.

— Я? На производстве. Коммутаторы, аккумуляторы... — сказал Кузьмин с укором. Вот мол, по вашей милости, Алексей Владимыч. Вы меня туда толкнули. Знаете, я кто? Я ваша ошибочка. Заблуждение ваше, грех ваш.

Лаптев собирался кончать этот пустой разговор, но странный, затаённо-опасный тон Кузьмина остановил его.

— Плохо, когда тебя знают, а ты никого. Когда-то, в молодости, было наоборот, — лицо его младенчески сморщилось, то ли перед смехом, то ли в печали. — И тоже казалось, что плохо...

Забывчивость старика портила ожидаемый эффект. Но Кузьмин всё ещё надеялся: «ах!..», и внезапная бледность, и испуг, и «не может быть! нет, нет!». Видно, взрыватель заржавел. Ничего не поучалось. Склероз вполне мог наглухо замуровать прошлое, так, что туда и не пробиться. Время, подумал Кузьмин, подставило ловушку. Время, оно бесследно не проходит. Он-то полагал, что если в нём, Кузьмине, Павле Витальевиче, сохранился под всеми слоями тот костлявый паренёк, прутик с нахальной щербатой ухмылкой, — то все узнают, переполошатся. Ан не тут-то было. Время со счетов не сбрасывается, это только так говорится: «Будто и не было двадцати годов».

— ...Живых-то математиков больше, чем умерших, — дошли до него слова Лаптева. — И не математиков. То есть вообще за наукой приписанных живёт сейчас на Земле больше, чем всех учёных, что жили до нас. За все эпохи...

— То есть как это? — досадливо спросил Кузьмин.

— Очень просто. Вы прикиньте... — привычно по-учительски предложил Лаптев и подождал. Ему и раньше нравилось озадачить слушателей и замереть. Сочинит какую-нибудь задачку на сообразительность, подкинет для игры ума и любителю, и все его лекции были начинены головоломками, в которых застревало большинство студентов.

Снова Кузьмин следил за скрюченным пальцем, рисующим в воздухе экспоненту, снова чувствовал, как это просто, если зажать нутро смысла, самый смысл смысла, тогда проще пареной репы. Нет, не ухватить, почему же не даётся, чёртов старик, опять выставил его болваном. Опять Кузьмин стоял перед ним тем же дураком, глазами хлопает, уши висят. Уже поседел, соли в позвоночнике, а всё стоит, ответа ищет. Двадцать с лишним лет прошло. Целая жизнь. Неужели столько? Когда ж они прошли, когда успели промелькнуть. Ведь вот он, Лаптев, и вот я, Кузьмин, и я всё так же, с тем же чувством стою перед ним... Как же я, тот самый студент, мог сохраниться внутри себя? Сейчас я и есть этот студент, а другого

Кузьмина, который вырос за эти годы, — его нет, он снаружи, где-то извне.

И непонятно, зачем нужен этот выросший Кузьмин, почему его нельзя сбросить и остаться только тому, молодому. Но старый Кузьмин нисколько не обижался, даже был умилен, что, впрочем, не мешало ему заметить, как Лаптев ловко извернулся, подsunул эту задачку, а причём тут эта задачка, на кой она сдалась...

— Но ничего, ничего, — приговаривал он без особого смысла. — Сейчас не тот расклад, другие козыри... — И вдруг в голове щёлкнуло, точно выключателем, и Кузьмин просиял:

— Факт. Живых-то больше. Ясное дело!

Своим ходом дошёл. Сам, без подсказки. Не заросло. Ай да Кузьмин, ай да Лаптев-старичок! Молодцы. Злыдень Лаптев ещё скрипит извилинами! Кузьмин еле сдержался, чтоб не подмигнуть ему. Какой там склероз, этот старикан в полном порядке.

«Всё же Лаптев — это школа! — подумал Кузьмин. — Это фирма! То, что он прослушал курс у Лаптева, кое-что весит. Тогда никто не придавал значения, а нынче стало котироваться, „Лаптев“ звучит как „классик“, „корифей“!»

— А я, Алексей Владимыч, теперь, в некотором роде, известный математик, — со смехом подsunул Кузьмин. — Я тот самый Кузьмин! Слыхали! Ку-зь-ми-н! — повторил он, как глухому. — Помните, я выступал с докладом, а вы меня опровергли?

Ничто не изменилось в плоско-жёлтых глазах. Стекло отражалась в них лестница, колонны, фигура Кузьмина и высокие огни светильников.

— Кузьмин! — упрямо повторял он, стараясь докричаться сквозь десятилетия. Не может быть, чтобы Лаптев забыл. Придуривается. — Кузьмин, Кузьмин, не однофамилец, а тот, кого вы так лихо разделили: «Почему плюс, почему не минус и не топор с рукавичкой?» Как все смеялись...

А если в том и фокус, что был лишь блеск разгрома, а самого Кузьмина для Лаптева тогда не существовало? Для других Кузьмин был, когда-то был такой, а для Лаптева его и не было, никогда не было.

Ясно — Лаптев не хочет вспоминать! Зачем ему про это вспоминать!

Придётся. Напомним. Голова у него, слава богу, работает.

— Сейчас там, на секции, все цитируют Кузьмина, — сказал он, — ту самую мою работу, — он попробовал повторить кое-какие термины из доклада Нурматова. Язык с трудом выговаривал полузабытые громоздкие слова.

Вспомнилась ещё одна фразочка Лаптева: «Пусть лучше Кузьмин пострадает от математики, чем математика от Кузьмина».

А получилось, что математика от Кузьмина не пострадала, наоборот, а от Лаптева пострадала, и Кузьмин незаслуженно пострадал. Лаптев, можно сказать, нанёс урон... Вот как всё повернулось.

И ему вспомнился другой перевёртыш в его жизни.

То мартовское пронзительно солнечное утро на берегу Енисея, когда на стройку приехал новый управляющий трестом. Кузьмин работал там начальником участка. За полтора года, с тех пор как его сняли с управляющего, его переводили с должности на должность, всякий раз понижая, пока он не докатился до этой отдалённой стройки, где трест третий год вёл монтаж

электрооборудования. До упора дошёл, дальше было некуда. Новый управляющий обходил площадку, сопровождаемый свитой. Ему представили Кузьмина и дошептали при этом «тот самый», что-то в этом роде. На красивом тонком лице нового управляющего не отразилось никакого любопытства. Голубые глаза сквозили так же холодно и открыто. Осматривая распредустройство, он ровно выговаривал Кузьмину, как перед этим выговаривал прорабу соседнего участка и как сам Кузьмин два года назад выговаривал другому прорабу. Приезд этот ничего не мог изменить, всё, что требовал управляющий, Кузьмин знал лучше него и давно бы сделал, если бы можно было. Жаль было потраченного впустую дня. Свита, те, кто не знал Кузьмина, молодые начальники спортивного вида, с внимательно-прицельными глазами, изготовленными как перед прыжком, не замечали Кузьмина. Он был вне игры, битая фигура, они не знали его и не интересовались. «Поднажмёте? Договорились?» — сказал новый управляющий, спрашивая и в то же время не спрашивая, потому что ответ мог быть один солдатско-чёткий, а главное бодрый, — в том-то и состоял смысл этого разговора, чтобы подвинтить, подстегнуть и придать бодрости. И Кузьмин со стыдом вспомнил, как сам он после всех жалоб и просьб начальников участков заключал свои посещения такими же пустыми словечками. Через нового управляющего он увидел себя и вместо ответа неуместно рассмеялся, что сбilo всю церемонию и повело за собою следующие изменения его судьбы.

Как волшебю всё перевернулось. Не с той долгой, полной превратностей службы, какой он занимался всю жизнь, а перевернулось с забытым началом, когда Лаптев выговаривал ему, высмеивал, гарцевал, а теперь Кузьмин может выговаривать о том же самом Лаптеву, поучать его, разоблачать все его увёртки и требовать ответа. Фортуна весьма поучительно подстроила, поменяла местами. Вознесла мгновенно и ослепительно. Даже, можно сказать, безо всяких усилий с его стороны. Чаще всего с ним бывало наоборот. Сверху вниз он летел, согласно законам механики, с ускорением, без особого сопротивления среды. А вот наверх не леталось, не попадалось эскалатора, наверх приходилось годами карабкаться. Почему-то ему всё доставалось с трудом. Давно не выпадала такая планида — разом достигнуть. Наконец-то он мог взмыть, отхватить...

Но сперва он хотел выслушать показания Лаптева. Получить, так сказать, удовлетворение. Придётся Лаптеву что-то произнести, признаться в постыдной своей ошибке, выставить какое-то оправдание. Каждый человек что-то изобретает в самооправдание. И всё равно он заставит Лаптева просить прощения. Хочешь не хочешь, а просить придётся, и не у этого солидного П. В. Кузьмина, а у того мальчишки, наглеца, которого с таким удовольствием когда-то ставили на место.

Костяная голова Лаптева скрипуче закивала.

— Да, да... Что-то по критериям. Студентом вы были?

— Тогда это было для вас что-то, — торжествующе подчеркнул Кузьмин. А сейчас это оказалось нечто. И весьма!

— Ох, и досталось вам. И этому... Райскому.

— Какому Райскому?

— Он ведь тоже... Или нет... Простите... Райский, кажись, позже. Вы ведь ещё при Лазареве, — окончательно установил он. — Так вы тот Кузьмин?

— Я, я, — подтвердил Кузьмин, радуясь, что Лаптев, по-видимому, узнаёт его.

— Поздравляю, — сказал Лаптев без всякого смущения, как будто он приветствовал успех своего ученика.

Кузьмин осёкся, не сразу понял в приветливости Лаптева ту казённую любезность, какая

наросла от бесчисленных защит, конференций, банкетов, симпозиумов. Поздравления по случаю присвоения, присуждения, награждения, назначения...

Через щель этого «поздравляю» увиделась бесконечная анфилада лаптевской жизни, случай с Кузьминым был в ней мелькнувшим эпизодом, рядовым, начисто забытым. Приходило ли Лаптеву в голову, что он когда-то мимоходом переломил всю судьбу студентика Кузьмина?

Обращаясь не к Кузьмину, а к доске, он задал один за другим несколько вопросов. Вопросы были простые и точные, на первом же Кузьмин запутался, следующие вопросы добились его, загнали в тупик, он попробовал выбраться отчаянно и нагло — это, мол, не экзамен, ему не отметка нужна, и он рассчитывал не на ловушки, а на понимание всего замысла, всей концепции. Вот тут-то Лаптев и взвился и за несколько минут превратил такие красивые построения в нелепые нагромождения, сляпанные нахалом или шалопаем. Впрочем, он обошёлся без резких слов. Он был убийственно корректен. И что самое ужасное — убедителен. То нарушение логики, которое восхищало Лазарева, стало вздором, ахинеей. Лаптев был в ударе, он работал на публику, весело, легко: «Трудно, конечно, со столь скромными средствами браться за столь серьёзные проблемы», «Тросточкой звезду не сшибёшь»...

Казалось, навсегда забытые фразочки. Кузьмин извлекал их из тайников как улики. Оказывается, они отлично сохранились, а как он старался забыть, всё забыть. И тот липкий пот унижения, своё позорное бессилие, прикрытое кривой дрожащей улыбкой, то есть снаружи это была улыбка, а изнанка затравленная гримаса — только бы удержаться, не сорваться в слёзы...

— Вы, кажется, со мной не согласились и собирались доказать, продолжал Лаптев, еле различая в сумерках прошлого мелкое это копошение, нечто из жизни козявок. — Собирались... Значит, доказали? Поздравляю.

Спасибо. Жаль, что теперь ваши поздравления, Алексей Владимыч, не имеют той цены. Дорога ложка к обеду. Кстати, я ничего не доказывал. Другие доказали. Всё было правильно с самого начала. Просто теперь это дошло, прояснилось.

Жёлтые глаза посмотрели мимо него, не обращая внимания на едкий тон.

— Может, так оно и лучше.

— Почему же?

Лаптев поскуchnел, он всегда скуchnел, когда ему приходилось тратить время на объяснения.

— Теорию признают, когда в ней нуждаются. Не раньше. Наши теории, особенно в чистой математике, это ведь изобретения. Мы придумываем то, чего в природе нет. Этим изобретения отличаются от открытия. Открывают то, что существует. Например, нефть. Или Америку. Это большей частью годится. А изобретения нужны, когда их есть к чему применить. До срока они ни к чему. От зелёных яблок что бывает?

— Ах вот оно что. Значит, вы тогда обо мне заботились, я-то думал... сказал Кузьмин. — Выходит, мне благодарить вас надо?

Глаза Лаптева слегка оживились умной насмешкой. Это он любил скрестить шпаги.

— Так, так, — пропел он, и сразу воздух насытился электричеством. — Вы что же, все эти годы математикой не занимались?

— Н-нет... У нас на монтаже всего лишь арифметика. Не простая. Считать надо уметь до ста трёх.

— Это что?

— А это считаем так, чтобы было чуть больше ста: сто один, сто два процента. Для премии.

— Так что же — годы ушли впустую?

— Почему же... — осторожно сказал Кузьмин, гадая, откуда последует удар.

— Ну как же, нынче ведут счёт печатными трудами. Небось и звания у вас нет, и степени? Горюете, что не достигли?.. Ещё бы — не профессор, не доктор. Боже мой, без этого какое же положение. Это ведь для вас показатель.

— Конечно, главный показатель. Был бы я уже давно доктором наук. А может, и больше, — в тон Лаптеву, взведённо отвечал Кузьмин. — И сделал бы немало, и достиг...

— Вот именно, и, вероятно, далеко бы пошли, кафедру получили бы. А может, институт. Одно за другим сложилось бы. А так что вы можете предъявить? А ведь пора, возраст. Скоро, как говорится, с горки.

Каждая фраза Лаптева в точности повторяла тайные мысли самого Кузьмина, разве что интонация была другая.

— ...Вы, конечно, намеревались совершить нечто великое. Иначе и смысла нет. Жить рядовым — какой же смысл. Сознать, что ничего выдающегося из вас не получилось, обидно. Об этом лучше не думать. Лучше избегать таких рефлексий... И вот, пожалуйста, жар-птица сама в руки... Держите!.. Крепче! Теперь-то уж, пожалуйста, не упустите. Последний шанс выпал. Иначе что ж, иначе жизнь ваша не удалась.

Это уж было чёрт знает что — бесстыдно оголить то сокровенное, что едва зашевелилось, и начать издеваться над этим. Не то чтобы заискивать, подольстить, успокоить. Ничего подобного. Лаптев шёл на рожон. Он не искал примирения. Не винился, нисколько.

— Иронизируете, Алексей Владимыч? Как будто вы жили по-иному. Вы-то ничего не упустили, вы достигали и не отказывались.

— Достигал! Изю всех сил! Ещё как старался! — с восторгом подхватил Лаптев. — Потому и говорю. Мы ведь с вами всё мерим достижениями. Хороший человек, плохой — неважно, важно, сколько страниц он написал. Важно получить результат, кто первый получил, тот и хорош. Академик — это великий человек по сравнению с учителем арифметики. Что такое учитель — мелочь. Я, например, людей мерил знаниями. Мне и в голову не приходило, что так нельзя. Даже талантом — нельзя. Что учитель может быть великим, а академик — ничтожеством. Ну как же, у нас, в математике, всё соответствует... Как бы не так. Подумаешь, я первый вывел такой-то метод. Ну и что? А следом Тюткин сообщает миру, что он вводит некое новое понятие. И тотчас появляется статья доктора Сюткина, где вводится другое понятие и доказывается, что понятие уважаемого коллеги Тюткина — частный случай предложенного Сюткиным понятия. Сколько раз я был тем и другим. Математика тут ни при чём, математика дивная наука, но нельзя приносить ей в жертву свою душу. Я многого достиг, да? Но, может, я больше потерял? Думаете, эти гонки мне нравственности прибавили? Нет. Вот спохватился, да поздно. Задумался не потому, что опомнился, а потому, что уже не угнаться. Вынужденно... В наш прагматический век знаете, чего нам не хватает — святых. Праведников не хватает. Церковь, она знала своё дело. И нам бы... О чём это я? Подождите... К чему? Ах да, математика. Нет, не греет... Мне яблонька дороже всяких загогулин.

Горечь его слов удивляла, печалила, не ожидал Кузьмин услышать такое, и от кого — от этого патриарха, прославленного, недостижимого.

— Как же так? Зачем же вы тогда... — Кузьмин остановился, сказал сухо и убеждённо: — Математика наиболее ясная и чистая наука. Какая другая объективней? Не история же! Из всех наук математика, по крайней мере, наиболее точная.

— Не повторяйте чужих слов, — отмахнулся Лаптев. — Она точная не потому, что достоверная, а потому, что мы можем знать меру неточности своих утверждений. Можем, да не хотим... Если бы я начинал снова, знаете, кем бы я был? Садовником. Или учителем. Музыка бы обучал.

— А ваш талант?

— Отдаю!.. — воскликнул Лаптев. — Вот именно. Талант! Берите! повторил он ликующе, как будто Кузьмин нашёл именно то слово, какого Лаптеву не хватало. — Талант, думаете, счастье приносит? Талант иссушил меня.

— То есть как это?

— Да, да, талант поработил, талант бесчеловечная штука.

— Талант? — всё более изумлялся Кузьмин этой ереси.

— Вы чем занимаетесь?

— Я? Монтажник.

— Не знаю. Но, наверное, это тоже хорошо. А представляете — садовник?

— При чём тут садовник? — возмутился Кузьмин. — Да ведь всё от таланта. У кого талант есть, больше может дать людям.

— А если наоборот? — И взгляд Лаптева стал необычно серьёзным. — Если талант глушит все чувства? Я людей не замечал. Вот и вас, например, я не заметил. Я на уравнения смотрел, возмущался, вижу ошибку, а не человека... Я как пленник этой математики. Приговорён. И всё потому, что когда-то решил, что главное во мне талант. А когда талант кончается — ещё хуже становится. Нет, лучше бы его не было. А как он унижает окружающих! Все чувствуют себя насекомыми. Если б заново, честно говорю, я бы отказался. Вы молодец. Вы ведь отказались?

— Я? Нет уж, извините, — и Кузьмин разозлился, поняв, что все рассуждения Лаптева были ради вот этой петли, этого хитрого выпада. — Я бы не отказался и не собираюсь. Не убедили.

Лаптев не ответил. Чёрные зрачки его вдруг укололи Кузьмина, словно напоминая недавний разговор с Зубаткиным о таланте. Кузьмин замер: эхо его слов отдавалось вдали. Поразительно, как, оказывается, можно одному говорить одно, а через час другому совсем иное. И не замечать этого!

— Вы что ж, Алексей Владимыч, ещё тогда всё это ради меня проделали? Чтобы я был свободен? Беспокоились? — зло сказал Кузьмин. — Хотели поскорее избавиться меня от таланта?

И опять уда прошёл мимо, остриё разило пустоту, не задевая и не рая. Лаптев переместился в другое измерение.

— А зачем вам это? — задумчиво спросил Лаптев. — Теперь-то зачем...

У Кузьмина горячо разлилось по телу: Это был тот же голос, что и тогда,

небесно-насмешливый, даже без особой насмешки, вместо насмешки было у Лаптева небесно-снисходительное высокомерие. И сразу радость погасла, стало скучно, безразлично. Совершенно особым умением обладал Лаптев — одной фразой сбить с ног. Вопрос был жестокий. Кузьмин почувствовал за ним силу, разящую без пощады. Впрочем, старик имел на это право, он и себя не щадил. Под дряхлой оболочкой действовала отличная машина, могучий мозг, который проверял, анализировал, не считаясь ни с какими чувствами, не зная снисхождения.

И всё же: теперь-то зачем... — в смысле: разве наверстаешь? Признание, похвала — зачем они так поздно?

Но тут смутное подозрение остановило Кузьмина: а что, если все эти признания, откровения лишь расчётливая игра? «Ах, действительно, зачем же мне это, к чему теперь-то, нет смысла...»

— Ах, действительно, зачем? — подыграл Кузьмин, красная шея его борцовски напряглась, лицо затвердело. — Затем, чтобы неповадно было! В назидание другим! Чтобы знали, что рано или поздно придётся ответить. У нас ведь не любят выяснять, кто там когда-то ошибся: кто виноват, что задержан проект, отвергнуто изобретение, загублены годы. Через двадцать лет всё оказалось правильно, и прекрасно. Кто старое помянет, тому глаз вон. Так ведь? А я думаю, что полезно спросить. Поучительно. Пусть знают, такое даром не проходит, каждому воздастся... Вот он виноват — пальцем ткнуть смотрите все! Как по-вашему?

— По-моему... — Лаптев старчески пожевал губами, сказал еле слышно, для себя: — Мне отмщение, и аз воздам. — Он прикрыл тёмные веки. Погодите... Ваш Лазарев жаловался мне, что вы сами не захотели, на произвол судьбы бросили свою работу. Точно, он натурально меня винил, он всех винил, а вы преспокойным манером уехали. Так ведь? Вызова не приняли. Войны не объявили. Крест не взвалили. И молодец. И слава богу, что не страстотерпец. Меня отец учил: пока баре рядятся, мужик должен пахать.

— Лазарев вам жаловался? — переспросил Кузьмин. — Сам Лазарев?

Лаптев вместо ответа быстренько усмехнулся и продолжал своё:

— Допустим, вы бы боролись. Ухлопали бы годы. На что? А так по крайней мере дело делали.

— Вот уж спасибо вам, Алексей Владимыч, премного обязан, — Кузьмин размахисто поклонился в пояс. — Вашими заботами, значит, наставлен на путь истины. А я-то, дуралей, считал, что вы промашку дали, мало ли с кем не бывает. Вы же наперёд всё вычислили, боже ты мой, всё предвидели, позаботились, чтобы я делом занимался...

Лаптев кисло покачал головой.

— Не умеете вы иронизировать. Не задевает. Знаете, почему? Я же вам объяснял: о вас я тогда не помышлял. Увы! Нет, нет, то, что вы не боролись, — это ваша собственная заслуга. Хотя можно считать, это была ваша ошибка. Быть человеком — значит бороться. Учили?

— Бороться с кем?

Хотя бы со мною. Но поскольку вы уклонились. Или поверили мне, то ваши претензии несостоятельны.

— А Лазарев, он боролся с вами, и что?

Дряблый рот Лаптева вдруг оскалился мстительной жёсткой усмешкой.

— Это я с ним боролся! А он не боролся, он вредил.

Кузьмин пристально посмотрел на него.

— Но если по совести, Алексей Владимыч, неужели вам сейчас, передо мной, хоть бы что?

— Желаете, чтобы я себя злодеем чувствовал. Да? Так у меня на такие злодейства покаянства не хватит. Что ж тогда Чебышёв, Пафнутий Львович, который отвергал идеи Римана? Он, по-вашему, явный лиходея. Вы бы его прямо в кутузку и под суд. А ученик Чебышёва, Марков, тот вообще геометрии не признавал, — тому, значит, высшую меру?..

Внизу из-за колонн вышла женщина и стала смотреть на них, слегка запрокинув голову. Кузьмин не сразу узнал в ней ту самую, которая мелькнула у подъезда, и тем более ту, которую знал когда-то. Она смотрела на них спокойно, без нетерпения, как смотрят на горы.

Постепенно, как бы толчками, он узнавал её и, узнавая, удивлялся, потому что не должен был узнать её, ничего не осталось в ней от той костлявой, большеротой, бесстыдно вёрткой девчонки в фланелевой лыжной куртке и синих штанах, с глазами голодными и взрослыми. Теперь это была полнеющая красивая блондинка, туго затянутая в замшевый тёмно-зелёный костюм, сдержанная в движениях, с холодным, умело разрисованным лицом, на котором вспоминались разве что капризно изогнутые губы.

Кузьмин кивнул ей, а Лаптев, отнеся это к своим словам, сказал примирённо:

— ...Добро творить одно, прощать — другое... А в слове этом чисто русская философия. Забытое слово.

— Какое слово? — не стесняясь, спросил Кузьмин.

Лаптев удивлённо поднял брови:

— Добро-то-любие.

— Это от меня требуется добротолубие? Я, значит, должен платить добром. Хорошо. А как быть с Лазаревым? С ним как рассчитываться будете? Он тоже должен, наверное, вас благодарить. Но только он уже не может.

Внутренне сам Кузьмин поморщился от своих слов. Но Аля стояла внизу, он обязан был спросить про Лазарева. Он делал то, что должен был сделать, и непонятно, почему ему, Кузьмину, неприятно и трудно, а Лаптеву хоть бы хны.

— Завтра на заключительном заседании я могу отметить вашу работу и признать... — Лаптев вдруг засмеялся, прикрывшись густой сетью морщин, почти исчез за ними. — Не от вас добра прошу. Это мне любо, что кому-то могу доставить... Если желаете, я вам слово дам. Я буду председателем. Поскольку старейший, то глава. В некотором роде украшение... — Морщин стало ещё больше, всё его лицо было исцарапано, изрезано маленькими морщинами. Во мне ныне надобности нет, давно уже... А тут хоть с некоторой пользой буду употреблён.

Так всё получилось неожиданно легко, так Лаптев охотно согласился, что Кузьмин несколько струхнул. Борол, гнул, силился, и пожалуйста, вдруг само собой полное исполнение желаний, восхождение на Олимп, вернее возведение на Олимп, безо всяких хлопот и страданий.

Но тут ему почудилось, что Лаптев подмигнул ему, откровенно, как соумышленнику, даже несколько уличающе. «Да на что это он намекает?» обиженно подумал Кузьмин, и непонятно было, зачем Лаптеву понадобилось портить впечатление от своих слов этим подмигиванием. Он ещё подождал, на всякий случай, однако Лаптев молчал.

— Вот и прекрасно. Наконец-то, — сказал Кузьмин, вынул платок и трубно высморкался. Потому что наплевать ему было на все умствования старика, важно, чтобы Лаптев признал, согласился, и ничто тогда уже не помешало бы полному и сладостному перевороту жизни. Наступала новая эра, не похожая на всё, что было с ним, и можно было отбросить всякие мелочи и нюансы.

Лаптев, склонив набок голову, прислушался к замирающим звукам его голоса.

— Почему-то вы не рады, — убеждённо сказал он.

— Ну что вы, я в полном восторге, — соврал Кузьмин.

Лаптев как-то иначе, сбоку, словно на примерке, посмотрел на него и неприятно улыбнулся.

— Вот и ладненько. Считаем, что сделка состоялась.

— Сделка? Почему ж это сделка?

— Сделка, сделка! — заговорщицки и в то же время поддразнивая, повторил Лаптев. — Про ментора своего — ни гугу!

Кузьмин покраснел.

— Позвольте, почему вы так...

Не отвечая, Лаптев хихикнул тоненько, почти пискнул и стал подниматься, держась за перила.

— Я всё равно спросил бы про Лазарева. За что вы его? — как можно независимее заговорил Кузьмин, доказывая, что никакая это не сделка и он не отступится. Мельком обернулся на Алю, развёл руками, как бы извиняясь, и пошёл за Лаптевым.

Прозрачно-серебристый пушок светился, подобно нимбу, над головой Лаптева. Встречные кланялись ему издали, лица благодарно светлели, Лаптев не поднимался, а восходил, и отблеск его величия падал на Кузьмина, на него тоже смотрели с почтением. Кузьмин неотступно следовал за Лаптевыми. Он хотел оправдаться, он не понимал, как получилось, что опять ему надо оправдываться.

...Было заметно, что, глядя на Лаптева, люди радовались тому, что видят этого человека. Его любили. И Кузьмин с удивлением чувствовал, что тоже любит этого человека.

Когда-то сыновья Кузьмина играли в такую игру: «А что бы ты спросил, встретив Пушкина? А Ньютона? А Шекспира?»

А что бы ты спросил, встретив Лаптева? «Что вы сделали с Лазаревым?» Как в Библии: «Где Авель, брат твой?»

Можно было спросить, а можно и не спросить. «А зачем спрашивать, что это изменит?» — думал Кузьмин, останавливая себя. Потому что Лаптев явно зачем-то подстрекал, подначивал. Надо было взвесить каждое слово, надо было следить в оба... Иначе всё могло рухнуть.

Кузьмин шёл за Лаптевым, придерживая длинную мантию его славы. Мысленно он примерял на свои плечи приятную её тяжесть. Это была особая слава, незнакомая ему до сих пор, слава, независимая от всяких званий, стоящих перед именем. Чистая слава, сосредоточенная вся в слове «Лаптев». «Тот самый», — иногда добавляли для пояснения. И не нужно было — «доктор» или «академик», «заслуженный деятель». Просто Лаптев. Вкус

этой славы пьянил Кузьмина. Отныне он ведь тоже мог жить среди подобной известности, уважительности, и люди оборачивались бы к нему своей приятностью.

Только что он был свободен, он мог говорить что вздумается, и вот уже всё кончилось. Почему-то надо снова быть осторожным, сдерживаться.

...У балюстрады стоял малинового плюша диванчик, Лаптев не присел, а облокотился на белую резную спинку. Случайно или нет расположился он так, чтобы видеть Алю, стоящую внизу у колонны?

Обнаружив Кузьмина, он шевельнул удивлённо бровями.

— Ах, вы ещё здесь... — И, не давая Кузьмину ответить, спросил: — Вы знаете, в чём преимущество старости? Преимущество, которое заменяет и женщин и вечеринки. Начинаешь жалеть людей. Мне каждого жалко... — И, опередив Кузьмина, закрылся смешком: — Особенно тех, кто меня слушает. Стареть — это искусство. Вот, например, тянет на рассуждения...

Опять он говорил о другом, совсем постороннем. Отвлекался куда вздумает, то замолчит, не отвечая, то повернётся и пойдёт. Вот у него была свобода, полная независимость. А может, всё это были ловкие приёмы. В результате он всякий раз вывёртывался, ускользал, а то ещё хитрее — внушал к себе симпатию. Что-то дьявольское было в этом старике.

...И вдруг строго произнёс:

— О Лазареве не надо.

Вроде бы брезгливо, но ведь возобновляя, потому что Кузьмин готов был отступить. Но теперь нельзя было промолчать, теперь уже Кузьмина зацепило.

— Отчего же не надо, очень даже мне интересно.

— Вы уверены, что Лазарев был порядочный человек?

Это звучало серьёзно, и Кузьмин имел возможность уклониться, пожать плечами: «откуда я знаю», откуда и в самом деле он мог знать, мало ли что там могло быть.

— Во всяком случае насчёт моей работы он оказался прав. А с ним обошлись несправедливо. Вот это мне известно, и этого достаточно.

— Вы разве не знаете, почему с ним так обошлись?

— За то, что выступил против вас... Так он считал, — осторожно добавил Кузьмин.

— Не считал, а говорил... — нетерпеливо поправил Лаптев и стал называть какие-то имена, когда-то Кузьмину известные, но которые сейчас вспоминались не сразу, да и то скорее по той особой интонации, которая прилегла к этим фамилиям, — Лаптев повторял её, слегка снижая голос. Какой-то Вендель, очевидно, из преподавателей. Щапов — этого Кузьмин помнил по номограммам, но Лаптев произнёс фамилию так, что возник душный зал и огромный сутулый старик на трибуне: Щапов каялся. Очки у него потели, он протирал их галстуком. Картина мелькнула бессловесная, что это такое происходило, чем кончилось, зачем Кузьмин там был — неизвестно. А Лаптев тащил его дальше, в мир уж совсем безликих призраков, какие-то возникали имена, шёпот, что-то важное, чем-то подозрительное, но в душе Кузьмин еле-еле отзывалось. Он не находил в себе никаких следов былых переживаний. И опасения были не его, а чужие. Только сейчас впервые подумал он, что в институте в те годы происходили трагические события, некоторых профессоров лишали кафедры, имена их вычёркивали, учебники изымали, другие почему-то уезжали на Урал или в

Петрозаводск. Тогда всё это совершенно не занимало Кузьмина. Оправдывал? Избегал? Не понимал? Теперь не узнать той молодой безучастности.

— Вы в чём-то подозреваете Лазарева. Но при чём тут был я?

В этого старика словно бы впрыснули кровь. Сухая пятнистая кожа его побагровела, он заморгал, облизнул губы.

— Вы, Кузьмин, были для него одним из способов укрепиться. Уж тогда Лазарев выиграл бы, он бы показал нам всем кузькину мать.

— Вот оно что... А со мной, значит, попутно разделались. Я пешка, которой жертвуют. Я не в счёт, как кучер.

— Что за кучер?

— Меня всегда поражало, — с жаром сказал Кузьмин. — Бомбу кидают в царя, а то, что кучер при этом гибнет, никто из этих героев не думал. Это для них мелочь, недостойная внимания...

— А ты царя не вози... Нет, тут у меня другая ошибка. Раньше надо было его удалить. Мы, как всегда, деликатничали. Можно было отстоять кой-кого, а мы ждали, что дирекция вмешается...

Прожитое возвращалось, обступало, постепенно оживали все эти люди, которые когда-то ходили мимо Кузьмина по институтским коридором, читали ему лекции, принимали экзамены... Выходит, он ничего о них не знал... Лаптев припоминал какие-то случаи, скорбел о чьей-то гибели, а Кузьмин чувствовал себя виноватым: он ничего не мог припомнить. Подлинная жизнь была скрыта. Вот Семейную гору в Кавголове — это он помнил. Он отработывал на ней приёмы слалом. Помнил успехи курсовой волейбольной команды, диспуты о любви. Чем ещё он увлекался тогда? Пиджак букле, ботинки на каучуке, зажигалка-пистолет. Каким он был пижоном... Но тут же ему захотелось защитить этого мальчика. Слишком легко было винить его, кроме пиджака букле и лыж была работа на агитпункте, восстановление институтского стадиона запахивали воронки, снимали колючую проволоку, разбирали бетонные доты... Кузьмин разглядывал его издали, как Лаптев. Откуда парню было знать предысторию этих людей — Щапова, Лазарева, Лаптева, ту, что тянулась с довоенных лет, — Борьбу разных школ математики, бесчисленные вузовские реформы, каким-то боком сюда подмешалась лысенковщина, про которую он и вовсе не обязан был знать. Парень занимался математикой. Лазарев выхлопотал ему билет в научные залы Публички, туда, где сидели профессора. Там были отдельные письменные столы, для каждого настольная лампа с зелёным абажуром. Они вместе с Лазаревым защищали научную истину, и оба за это пострадали. Это бы Лаптев не приводил, от этого факта никуда не денешься. Истина в конце концов победила. Лаптев, конечно, полагал, что он борец за справедливость, но какими методами он боролся — вот в чём суть!

— Выходит, вы не просто заблуждались, вы умышленно меня подкосили?

— Не совсем. Это как бы слилось. Ведь то видишь, что хочется видеть, Лаптев тоскливо поморщился и замолчал.

Кузьмин не стал вдаваться в тонкости, да и невыгодно ему было терять преимущество, он сказал:

— Нельзя сводить счёты при помощи науки. Это вам не дубинка. С несправедливостью нельзя бороться новыми несправедливостями. А уж в науке давно. Наука не терпит никаких комбинаций.

Ах, как убедительно у него получалось! Нахально, но правильно. Одна за другой следовали законченные, авторитетные фразы, прямо хоть записывай. Вообще, что касается науки, что надо и что не надо — он мог бы, наверное, учить не хуже других, это было легко и приятно: «В науке нужно думать не о себе, не о своих интересах, а о результатах, о пользе дела», «Наука требует бескорыстного служения, полной отдачи и никаких компромиссов», «Только тот достоин называться большим учёным, кто умеет вовремя признавать свои ошибки и анализировать их», — неизвестно откуда они возникали и усиливали начальственную мощь его голоса:

— Ради хотя бы истории математической школы полезно будет напомнить молодым некоторые ваши возражения. Вот, мол, как тогда думали... А что касается Лазарева, то, ей-богу, те страсти, о которых вы говорили, на фоне этого факта выглядят неубедительно и — простите — мелковато.

— Вероятно, — согласился Лаптев.

— Я знаю, что не стоило мне про Лазарева, вам это неприятно, но пусть, я не боюсь, — сказал Кузьмин, глядя на Алю. — Пусть я на этом проиграю, пусть вы можете расторгнуть сделку...

Лаптев чуть улыбнулся, поднял сухонькую ручку.

— Подождите, вам зачем это надо, насчёт Лазарева? Ах да, он ваш учитель! Вы хотите, чтобы всё было в ажуре. Тогда вам будет совсем легко и гладко. А может, не надо, чтобы вам было легко? — с каким-то неясным предостережением добавил он.

— Почему?

— Долго объяснять... Да вы не беспокойтесь. Я не в обиде, что вы решились спросить про Лазарева. А на заключительном заседании, ежели пожелаете, скажу, как обещал. — Лаптев всё это произносил наспех, невыразительно и, отговорив, вдруг спросил с любопытством: — Вы лучше вот что объясните мне: вы что ж, действительно полагаете, что эта ваша работа важнее того, что происходило?

— Важнее чего? — спросил Кузьмин, хотя сразу понял, что имелось в виду.

Тёмное, коричневатое лицо Лаптева стало суровым, как на древней иконе.

— Той борьбы с клеветниками. Тех людей, которых мы защитили, — и он торжественно стал называть фамилии...

Опять эти давно позабытые люди, до которых ему никогда не было дела. С какой стати он обязан вникать? Какого чёрта Лаптев навязывает ему эти отгоревшие страсти? Мало ли что было. И наворачивает так, словно бы Кузьмин должен виновато склонить голову. Нет уж! Он жил, как все его друзья жили в те годы, и не намерен этого стыдиться. Ничего зазорного в той жизни не было, нисколько. По крайней мере на всё имелись простые и ясные ответы, можно было ни о чём не задумываясь делать своё дело. Он, Кузьмин, не оправдывает того, что было, всё это давно осуждено, зачем же снова возвращаться, перебирать? Стариковское занятие.

— Да, да, конечно, всё, что вы говорите, тоже важно, — сказал Кузьмин. — Вы правильно отметили.

Он посмотрел на Алю и почувствовал, как он устал от этого разговора, где каждое слово требовало умственного напряжения, от этого словесного фехтования. Скорее бы кончить и спуститься к Але, которая всё так же спокойно ждала.

Позавидуешь выносливости старика. Ему хоть бы хны. Кузьмин же чувствовал себя изнурённым, ближе по возрасту к Лаптеву, чем к Зубаткину. Река времени несла его к Лаптеву, он ощущал её течение, тиканье часов на руке, секунды стучали отбойным молотком, отваливая пласты времени кусок за куском.

— Как вы назвали? Добротолюбие? Да, может, так и надо, — сказал Кузьмин, не заботясь уже ни о чём и ничего не выгадывая. — Добротолюбие... Хотя вы-то, Алексей Владимыч, сами добротолюбие не соблюдаете. Вот до сих пор простить Лазареву не можете. Ведь вы тоже должны были обрадоваться.

— Чему обрадоваться?

— Да тому, что есть возможность исправить вашу ошибку, — пояснил Кузьмин.

Никак он не ожидал, что слова его так сильно взволнуют старика. Всё в Лаптеве вдруг встрепенулось, затрепетало, зашелестело, как сухая осенняя листва.

— Исправить ошибку? Где это вы видели, кто, кто исправляет? У нас тут уличили одного аспиранта. Списал. Совесть, спрашиваю, неужели не мучает? Это, говорит, понятие религиозное. А я мальчишкой... отец меня привёз на Нижегородскую ярмарку, там мужик, помню, на коленях кричал: вяжите меня, православные, ограбил! И головой бьётся. Мужик. Совесть... когда-то... Аспирант... Не модно, — он задышался, волнуясь, видно, ещё чем-то другим.

— Да не надо, чтобы на колени, — поспешно сказал Кузьмин, — мне и так... я ведь про другое понять хочу: если бы вы тогда согласились, увидели бы, что работа моя правильна, то с Лазаревым вы бы как обошлись? Извинились бы перед ним? Оставили бы его в покое? Всё иначе было бы? Ведь так?

Лаптев застыл с впалым приоткрытым ртом.

— Не знаю, — наконец признался он. — В том-то и пакость, что не знаю. Казалось бы, ради истины ничего не жаль, ничем нельзя поступиться. А тут... не уверен. Если бы умышленно поступился, всё равно был бы прав. Лично перед вами я всячески виноват, но вас-то не отделить от Лазарева. А если вы для Лазарева были козырем, тогда всё оправдалось. Поймите — оправдалось. Поэтому я и не жалею ни о чём.

Кузьмин устало кивнул:

— Ваше дело.

— Поэтому и не радуюсь. Всё правильно, это и плохо. Вот как... А вас я не осуждаю...

— Меня-то чего осуждать? — взметнулся Кузьмин. — За что? Нет уж... Он замолчал, но Лаптев прерванной фразы не досказал, только посмотрел на него необычно серьёзно, с печалью и протянул руку. Такая она была невесомо-сухонькая и холодная, что, казалось, Лаптев еле стоит на самом краю жизни, и если не удержать его, то вот-вот сорвётся и исчезнет.

— Завтра, перед началом вечернего заседания, — пробормотал Лаптев. Мы договоримся... — он шагнул в сторону, и на этом всё кончилось, его окружили, взяли под руки, увели, и Кузьмин не успел спросить, что же означали последние слова об осуждении и взгляд его, исполненный жалости и сочувствия. Как будто Лаптев посмотрел на него уже с той стороны, где не могло быть ни хитрости, ни желания одолеть. По сумме, как говорится, очков выиграл поединок Кузьмин, какого же чёрта Лаптев жалел его и даже прощал, с какой стати...

Стоило Лаптеву прикоснуться к прохладному желтоватому мрамору балюстрады, и словно

током продёрнуло воспоминание. Как будто в камне старого особняка за десятилетие скопился заряд. Они стояли именно здесь с Ярцевым, Щаповым и Венделем, чиркали по мрамору пальцами, а потом карандашами. С этого зародилась нынешняя теория управления. На этой лестнице. Классическая советская школа, ныне одна из сильнейших в мире. Первый сформулировал, кажется, Семён Вендель. Этот болтливый, вечно орущий простак соображал быстрее всех. Свои мысли он раздавал направо-налево, он никогда не заботился об авторстве. Было это перед войной. Колька Щапов только что получил орден за блюминг. Эти трое были лучшие ученики Лаптева. Щапов думал глубоко и фантастично. Если б не блокада, Щапов бы устоял, блокада изнашивала ему сердце. Перед смертью он успокаивал Лазарева: справедливость, мол, восторжествует, разберутся, всем этим проработчикам разъяснят, и Лазареву в том числе. Обидно было, что ничего этого он уже не увидит, он знал, что умирает. «Но в конце концов не всё ли равно, — говорил он, — если можно считать, что всё это вскорости будет».

Звучали голоса, Вендель брызгал слюной, размашистым жестом Ярцев откидывал со лба золотистые свои волосы. Лаптев был больше там, с этими ушедшими, чем здесь. Нынешнее интересовало меньше, чем прошлое. Кстати, он давно обнаружил, что прошлое не было мертво, оно жило и менялось. Ярцев тогда посмеивался над шумом вокруг счётных машин, он был неправ, а теперь снова стал прав. Ярцев молодец, он один из тех, кого удалось уберечь. И Несвицкого, и Кондакова. Может, они и догадываются, но толком не знают, как всё происходило...

Не спеша он наблюдал за жизнью прошлого, как оно менялось. Эта жизнь продолжалась в нём. Через него, Лаптева, продолжал жить его учитель Стеклов, а учителем Стеклова был Ляпунов... В последнее время он всё явственнее ощущал эту преемственную связь, уходящую от него в глубь прошлого. Существовала и другая ветвь, направленная в будущее, её он чувствовал слабее, да и не нравилась ему нынешняя математика...

Никто не осмеливался подойти к нему. Он сидел в комнате оргкомитета, согревая лицо над стаканом горячего чая. Запах поднимался парной, банный, какой почему-то бывает у казённого чая. Лаптев подумал, что после войны он ни разу не парился в бане, не пил чай из самовара. Тут же вспомнились ему белые снарядные головы рафинада в синей хрусткой обёртке, жестяные коробки чая — «чёрный, кантонский, производство Никифора Смирнова» — на полках в магазине колониальных товаров...

Множество бумаг, стенограмм, протоколов ожидало его подписи, и хотя всё решалось какими-то другими людьми, но процедура считалась незавершённой без него.

Откуда-то уж совсем издалека вспомнилось, что в двадцатых годах в этом особняке помещалась комиссия по улучшению быта учёных, сюда приезжал Горький и с ним Карпинский, и тогда Лаптев, которого Горький стал спрашивать, вдохновенно произнёс настоящую оду математике: «Всё прекрасное в истинном смысле слова, — вещал он, — может быть подвергнуто математической обработке». Горький слушал его заворуженно, а Карпинский дёргал бровь, морщился, потом сказал: «Иллюзии это, Алексей Максимович, но бывает, что в погоне за иллюзиями юноши делают всякие полезные открытия».

Ему приятно было перебирать своё прошлое. Теперь, когда он почти не работал и голова была свободна, он перестал торопиться и мог наконец осмотреть прожитую жизнь. В этом была сладость доставшихся ему последствий. Чем же была его долгая, такая занятая, такая работающая жизнь? Был ли в ней смысл помимо его постоянного труда, ради которого он не считался ни с чем ни с семьёй, ни со здоровьем? Казалось, что должно было быть что-то ещё, но что именно, он понять не сумел. Теперь, когда он перестал заниматься математикой, он увидел, что ум его, которым он гордился, — уродливо однобок, а душа пуста. Он даже чувствовал себя глуповатым, прежде его высокомерие к историкам, особенно к философам, стало стыдным. Он не представлял, как трудно размышлять о своей собственной жизни, о так

называемой душе. Была ли она у него, что с ней, не усохла ли за ненадобностью? Господи, как заросло всё внутри. Он услышал далёкий юношеский голосок:

Но и во сне душе покоя нет,

Ей снится явь тревожная, земная,

И собственный сквозь сон я слышу бред,

Дневную жизнь с трудом припоминая.

Чьи-то стихи из его молодости, когда он знал наизусть множество стихов, глотал каждый новый сборник, следил за поэзией. Сегодня кумиром был Ходасевич, завтра Василий Каменский, Маяковский... А стал известным математиком, и в голову не приходило сесть читать книгу стихов. Если по душе, то Кузьмину должно было посочувствовать. Так нет, прежде всего подумалось — лазаревский кадр! В этом и вред Лазарева... Сейчас перед Лаптевым возник, конечно, чужой человек, взрослый Кузьмин, затверделый. Тому, прежнему студенту можно было растолковать тихие знаки того времени. Неразличимые сигналы помимо трубных словес и клятв, которыми защищалась каждая сторона. Слова-то произносились одинаковые, и Лазарев и Лаптев утверждали одно и то же. И ведь искренне... Разве завтра на пленарном заседании это объяснишь? Разве кто поймёт, насколько рискованной была операция по удалению Лазарева? Комиссия наезжала за комиссией. Чувствовали, что Лаптев нашёл предлог, придрался, друзья его упрекали; он же знал, что использует последний шанс, либо — либо: либо, как говорится, сена клок, либо вилы в бок. Да и не счёты он сводил, а людей спасал, свою кафедру. Завтра не преминут его спросить про Кузьмина, и, как ни крутись, проглядел, не оценил его открытия, — но это признать не штука, а вот поймут ли, что он несколько не жалеет, что всё так получилось. Не так уж много было в его жизни поступков, а Лазарева изгнать — это был по тем временам поступок. Бог с ней, с наукой, наука подождёт, вот она и дождалась... Тем более если подсчитать, сколько первоклассных работ дала после Лазарева кафедра, тот же Ярцев, по автоматике... Так что за вычетом Кузьмина, в сумме, наука выиграла. Можно было уравнение составить. Прежде в этом уравнении всё бы сходилось, теперь же появилась какая-то неточность.

Лазарев, несомненно, был клеветником, он причинил много неприятности людям. После удаления Щапова, а затем Венделя Лазарев стал доказывать, что всё это не случайно, что на кафедре идейный застой, окопались чуждые люди, он раздувал ошибки, мелкие оговорки, его ярлыки, его демагогия в те времена могли привести к трагическим последствиям. Вокруг него стала группироваться обиженная бездарь. Надо было как-то защищаться. В этот критический момент и обнаружилось со сборником... Почему, спрашивается, Лазарев пошёл на риск, публикуя работу Кузьмина? Знал ведь, что борт подставляет. Значит, представлял себе ценность работы? Кляузник, демагог, завистник, сам по себе учёный никакой, а интуиция, значит, была? Лаптев, например, Кузьмина прохлопал, увидел только недоказательность идеи, у Лазарева было то преимущество, что он знал этого паренька и поверил в его чутьё. Получается, что Лазарев защищал Кузьмина ради истины? Или всё же ради того, чтобы укрепиться? Теперь не узнаешь. Говорят, важны не намерения, важны итоги. Кому как, теперь ему интересны именно намерения Лазарева. А насчёт намерений неясно, данных не хватает. Уравнение не решаемо. Нравственные задачи вообще самые сложные. Нравственная задача предполагает выбор: что лучше — как поступить — кто прав. Был ли выбор у Лазарева? Тут не отвлечённая задачка, важно ещё, кто решает, в каких условиях... Может, Лазарев не просто низкая личность, может, было в нём что-то и другое. Ведь было же оно в молодости, когда он первый учуял значение той знаменитой работы Лаптева по анализу и прислал восторженное письмо. И ведь был момент, когда Лазарев уговаривал напечатать работу Кузьмина, да, приходил, уговаривал, а Лаптев отмахнулся — вздор! И даже когда Лазарева уволили на пенсию, он продолжал настаивать на правоте Кузьмина, упоминал его, кажется, в своих письмах-жалобах. Ярцева это растрогало, Лаптев же сказал: «Наука не мешает

человеку быть подлецом, но подлость мешает человеку быть учёным». Не верил он Лазареву, не хотел учитывать никакие его плюсы... Он повторил эту фразу публично, на заседании в честь награждения его и Щапова (посмертно) Ленинской премией. Собралось много народу. Окна были раскрыты. Пахло яблоками. Стёкла высоких шкафов слепили закатным солнцем. В углу, у дверей, в костюме цементного цвета, сидел Лаптев, совсем больной, и всё записывал. Но это уже было не страшно. Те самые работы, на которые он напал, были отмечены премией.

Глядя на него в упор, и повторил Лаптев ту фразу, чтобы всем было ясно: «Наука не мешает человеку быть подлецом...» Рядом с Лазаревым сидела девушка. У неё были такие же, как у Лазарева, зелёные глаза. Он понял, что это его дочь, что она привела Лазарева. Лицо её исказилось. Она беспомощно оглянулась. Некоторые смотрели на них, кто-то показывал соседу, шептал. Она закрыла лицо руками. Не стоило при ней...

Вряд ли у кого ещё сохранился в памяти этот яблочный осенний день. Тех шкафов и того зала давно нет. На том месте построено другое здание. В нём самом, в Лаптеве, тоже многое перестроилось, и неизвестно, зачем память тщательно хранит этот день.

Но был же какой-то сокровенный смысл во всех этих давних ошибках, битвах. Это ведь были не огрехи жизни, а сама жизнь. Исправить её он уже не мог, он мог только пытаться понять её. Странная штука, он всегда так боялся смерти и совершенно к ней не готовился. Лишь с тех пор как шум жизни стал в нём стихать, он начал приводить в порядок свои дела. Рассказал на семинаре о своих накопленных идеях. Собрал какие мог части работы, заметки Щапова, Венделя, восстановил кое в чём их авторство, написал о Стеклове, о Смирнове... Было куда как мило: старец, уходя, благословлял, оделял своим наследством.

Встреча с Кузьминым нарушила эту благостную церемонию. Словно выдернули какой-то клинышек, и всё зашаталось, поползло, кособочась. Должен ли он помочь Кузьмину или должен ещё раз попытаться остановить его? Что лучше — искупить свой грех либо подумать о Кузьмине, о ненужных хлопотах, надеждах и всяких сложностях, на которые Кузьмин себя обрекает? Сомнения терзали Лаптева бесовскими когтями. Будь Лаптев человек религиозных, может, было б проще — он обязан был бы позаботиться о своей душе, о совести, очиститься. Но он готов был пренебречь своей душой и поступить как можно лучше для Кузьмина, однако как это сделать, он не знал. Мало, оказывается, хотеть сделать лучше, надо ещё знать, как это сделать. Математика не могла помочь ему, ни опыт анализа, ни опыт систематики, ни опыт логики.

III

Чем ближе он подходил, тем старше она становилась. С каждым шагом она старела, руки старели, шея морщижилась, волосы теряли блеск. Только рот оставался молодым, такие же яркие, капризно изогнутые губы и чистые ровные зубки.

Кузьмин медленно спускался по лестнице, а ощущение было такое, как будто он поднимался, восходил; вдруг он подумал: разве можно сказать, куда ведёт эта лестница, вверх или вниз... Так же и с этой женщиной, какой она стала — приблизится он или отдалится, кого он встретит и что произойдёт сейчас, ведь то, что между ними было, было совсем с другими людьми.

— Аля, — произнёс он, — Аля... — Звук этого давно не произносимого имени взволновал его. — Вот наконец освободился, прошу прощения... — и всякие слова, какие положено в таких случаях, но эхо её имени продолжало отдаваться где-то внутри.

— Ничего, Павлик, я вас с удовольствием ждала.

От этого точно как прежде «вас... Павлик» стало легче, и можно было обращаться к ней на «ты», как к той девчонке.

Нет, не затихало эхо, усиливалось, словно один за другим отзывались колокола дальних звонниц.

Она нисколько не стеснялась своих морщин, спокойно подставляла себя под его взгляд. Взамен бесстыдной девчонки с большим хохочущим ртом была женщина, уверенная в себе, знающая свою женскую силу. А между ними расположилась целая жизнь, лучшая её пора, которую он так и не увидел, о которой не имел понятия. Слышал только, что вскоре после смерти отца она уехала в Москву к своим тёткам, а потом... Что же было потом?

— Потом было много всякого, — спокойно сказала Аля, вроде без всякой улыбки, и всё же где-то смешок, усмешечка прятались. — А ещё потом вышла замуж за известного вам, Павлик, Васю Королькова.

— За Королькова? — Он глупо засмеялся и чуть не добавил: «Васька-Дудка» — такое было прозвище у этого парня с их курса. Обалдуй обалдуем.

Аля не обиделась на его смех, только улыбнулась как-то криво.

— Ну, как я выгляжу?

— Дивно, — искренне сказал он. — Послушай, это ты меня внесла в список?

Она ответила неопределённо, ей, мол, известно, хотя сама она была занята...

— Я вас, Павлик, искала в холле, но тут приехали американцы, и меня позвали, я помогаю в оргкомитете. Вот, возилась с ними, устраивала. Хотят пойти на Вознесенского. Наслышаны.

— А-а, — протянул Кузьмин, понятия не имею, что это за Вознесенский.

Она сказала ещё про Большой драматический, выставку молодых, о которой он тоже не знал. В той несостоявшейся его жизни были, разумеется, и этот Вознесенский, и театры, и приёмы, и выступления на конгрессах. Он всё успевал бы, то есть не он, а тот, другой Кузьмин, вёл бы культурную, разностороннюю жизнь...

У неё были, наверное, заграничные духи — острый запах, полный свежести, сквознячка, и вся она выглядела свежо и молодо. Странно, теперь, после первых минут разочарования, она стала как бы молодеть, а он стареть. Если бы он встретился с Алей сразу, на улице, у подъезда, он, может, и почувствовал бы её превосходство, но сейчас, после Нурматова, он на все события смотрел с чувством приятной доброты.

— Откуда ж ты знала, что я пойду на секцию? — спросил он, чтобы всё же проверить. Она могла и не слышать про доклад Нурматова, про то, что произошло и кем он стал за эти часы.

Но она кивнула, подтверждая:

— Как же иначе. Это ваша секция, Павлик. Вы выступал? — Она держалась почтительно и по-хозяйски.

— Нет, я там поспал, а потом тихонько ушёл.

— Поспали?

— Скучища.

— Ладно, ладно, не изображайте... Почему вы, мужчины, всегда стыдитесь быть счастливыми?..

Она была неколебимо уверена, что он счастлив. Она была рада, что всё так удачно сложилось, рада за него и за своего отца. Её интересовали подробности. Она проверяла, как всё произошло. Как они встретили Кузьмина?

— Непродолжительными аплодисментами, — сказал он. — Приветливо встретили, но всё же скромно.

Аля внимательно посмотрела на него.

— Павлик, вы представились им?

Почему-то её прежде всего занимала эта история.

— Они и так узнали меня, — сказал Кузьмин. — По портрету. В прошлом году был напечатан в тихвинской газете. Не видела? Пуск Череповецкой ГЭС. Я там третий слева.

Она безулыбочно покачала головой, взяла его под руку и повела мимо буфета, через бюро стенографисток, в маленькую комнату, где было тихо, горел красный свет в старом камине. Они сели в глубокие кресла. Аля сказала кому-то: «Передайте, что я здесь», — и приступила к Кузьмину уже всерьёз. Она всё ещё не верила, что он не объявился, допытывалась почему, так и не спросив о семье, где он, как он, что делает, её лишь интересовало, неужели он скрыл и не сказал, кто он.

— Как же так? — не переставала она удивляться, всё ещё не веря и сомневаясь. — Почему? Нет, Павлик, вы серьёзно? Что же там произошло?

— Да ничего не произошло.

— Нет, но вы же там присутствовали? Как же вы промолчали?

Она всё сильнее огорчалась, недоумевала. Её забота несколько смягчила обиду Кузьмина.

— Ах, вот оно что, — вдруг сообразила Аля, — понимаю. Вы, Павлик, расстроились. Верно? Небось махнули на всё рукой. Ещё бы, столько лет... Да, это ужасно, столько лет пропало. Если бы сразу... Вы могли достигнуть... Во всяком случае стать замечательным математиком...

Она жалеючи, каким-то знакомым царапающим движением поскребла его рукав, глаза её были полны сочувствия. Кузьмин всё больше узнавал её.

— Такая работа, такая блестящая работа, — расстроено повторяла она. До чего обидно. А сколько других работы вы смогли бы сделать... Папа был прав. У вас, Павлик, исключительный талант.

— Был.

— Не знаю, не говорите так. Я не могу это слышать. Такое не пропадает, не должно пропасть, это в крови...

Она защищала его с горячей заинтересованностью, и как будто знакомство их не прерывалось, как будто дела Кузьмина оставались для неё самой насущной заботой. Она верила в него, она восхищалась им — дурманная сладость была в её словах, сомнения, вселённые Лаптевым, рассеивались. Он слушал описание своих упущенных званий, степеней, исследований, и ему хотелось верить, что всё так и было бы, и, может, стоит об

этом пожалуй, но кажется, это ещё поправимо, многое можно вернуть, наверстать...

— Ну-ну, ты наворачиваешь, — опомнился он. — Если бы да кабы... Могло быть, а могло и не получиться. Одной той работы мало...

— Нет уж, вы поверьте мне, Павлик, — с ласковой твёрдостью сказала Аля. — За меньшие работы профессорами становятся. Способности — это не самое главное. — На какой-то миг она забыла про своё лицо и стала похожа на Зойку-наладчицу, нахальную пробивную бабу, которая чуть что кричала: «Все делаши, все хапуги, я по себе сужу».

— Откуда ты всё это знаешь?

— Я? Кому же знать, если не мне, — усмешка прогнула её накрашенные губы, — я этого нахлебалась... вот. Между прочим, даже я стала доцентом.

— Почему даже? Скромничаешь? А вообще, ты стала... такая дама. Теперь ты как — Королькова?

— Нет. Лазарева. Доцент Лазарева. Не хуже других, хотя способностей не чувствую. Это благодаря Королькову удалось выйти на орбиту. Послушайте, Павлик, о чём вы говорили с Лаптевым?

— Так... вспоминали.

— Он про вас знает?

— Я сказал.

— И что? Как он?

Кузьмин неопределённо пожал плечами.

— Простите, Павлик, вы, конечно, не обязаны мне отчитываться, — она помедлила, ожидая возражений, но Кузьмин молчал. Щёки её неровно покраснели, она сглотнула и продолжила твёрдо: — Как вы понимаете, Павлик, я имею некоторое право интересоваться, всё это касается и меня.

— Да я не потому, — сказал Кузьмин и попробовал, осторожно обходя связанное с Лазаревым, передать их разговор, те чувства жалости, и восхищения, и удивления, которые вызвал у него Лаптев, и душевную путаницу от противоречивых его суждений.

— И это всё? — холодно спросила Аля. — Вы что же, собираетесь простить его? За какие подвиги? Что он совершил такого?

В самом деле, почему в душе его не осталось ненависти к Лаптеву, исчезла мстительность? Куда она делась? Он виновато посмотрел на Алю. Но всё же Лаптев согласен выступить, сообщить о Кузьмине, предоставить ему слово, нет, он не вредный старик, он, вообще-то, мог послать Кузьмина подальше со всеми претензиями.

— Значит, вы, Павлик, решили не портить с ним отношений, — вывела Аля. — Он за вас словечко замолвит, и дело с концом, ему можно ни в чём не каяться. Ай да Лаптев, ловко он откупился. Взаимно выгодная сделка, оба вы с прибылью, оба...

— Да вы что, сговорились?! — взорвался Кузьмин. — Какая ещё сделка? Не желаю слышать.

— Придётся! Нет уж, Павлик, я ведь и вас щадить не стану... — Белое лицо её затвердело, стало гладкое и холодное, как кафель. — Так что не надо. Переоцениваете вы Лаптева,

практически не у дел он. А себя вы недооцениваете... Вы-то уж не студентик, чего вы боитесь? Не сможет он нынче повредить, не укусит, откусался, — она наклонилась, приблизилась лицом, так что глаза её расширились, и там, в чёрной глубине, колыхнулась скопленная годами ненависть. — Его сейчас бить, сейчас, не вдогонку за гробом, а пока ещё на коне, на трибуне!.. Вывернуться хотел? Прикинулся беспомощным. Понадеялся, что мы отпустим грехи за давностью. Нет уж! Я хочу посмотреть, как он будет извиваться!

— Послушай, Аля, зачем ты так?

— И не просите, Павлик! Да как у вас язык поворачивается, самолюбие где ваше? Забыли, как он глумился над вами? Вы что думаете, он заблуждался? Как бы не так. А что он сделал с папой? За что он его из института вышвырнул? Разве это справедливо было? Если бы не он, отец, может, жил бы ещё. И у меня вся жизнь наперекос... Знали бы вы, как он при всех, сияющий, награждённый... Я привела отца, а Лаптев при всех его придавил каблуком... Меня, дочери, не постеснялся! Это я только теперь понимаю, какие муки отцу, что такое при мне... Почему это я прощать должна? Где это сказано? Да я и права не имею прощать, перед отцом своим не имею.

— Может, через столько лет и Лев Иванович...

— Он — да, он мог простить, а я не имею права. А вы, как вы, Павлик, могли за счёт папы сговориться... Он так в вас верил... Павлик, вы знаете, он до последнего дня ждал, что вы вернётесь. Он писал вам, помните, несколько раз, а вы даже не ответили. У него была договорённость, что вас возьмут в университет...

Совершенно верно, приходили письма. Кажется, он получил их с опозданием, то ли уезжал, а может, его уже перевели в Заполярье.

А здесь, оказывается, ждали его. В полутёмной квартирке Лазаревых, на Фонтанке, окна на набережную, первый этаж. Там были сводчатые потолки, толстые стены и широченные подоконники, на которых стояли бутылки с луковицами.

... Он приехал в первую в жизни командировку. Полный чемодан трофейных реле и связка воблы. Когда в гостинице сказали, что мест нет, он долго не мог понять — у него же командировочное удостоверение, он приехал по государственным делам!

У Лазаревых он прожил больше месяца. Сидел в лаборатории, снимал характеристики реле. Спасибо, что разрешали. Выпросил за воблу. Возвращался иногда поздно, парадная была закрыта, и Кузьмин влезал через окно. Аля ставила чай, а Лазарев, покачиваясь в скрипучей качалке, долго, язвительно Кузьмина попрекал и обличал своих врагов. Он называл Кузьмина отступником, карьеристом, который продался за чечевичную похлёбку быстрого успеха, изменил своему таланту. Но никогда не винил Кузьмина в своих неприятностях. Его уже «ушли» из института, и он писал протесты, давал уроки, вёл кружок математиков в Доме пионеров, вычитывал корректуры. Кузьмина винить в этом чести слишком много. Лазарев напечатал его работу ради науки и не жалеет. Он принёс себя в жертву, он мученик, он страдает за веру. Рано или поздно его признают. Он восторжествует над этими злопыхателями, вредителями, идолами, оппортунистами, над этой сворой во главе с Лаптевым.

Аля стелила Кузьмину постель в своей комнате, сама она спала в столовой, рядом с отцом, на коротком диванчике.

— ...Жарков, его ученик, получил кафедру и обещал вас взять. Вы, Павлик, могли поначалу жить у нас. Мы всё продумали. Я была уверена, что вы вернётесь к математике...

Перед сном они шептались в ванной. Большая ванная комната с красной колонкой была

превращена в кладовку. В эмалированной чаше ванной лежала картошка, у стен стояли доски, сушили дрова. На синих изразцах повторялись домики с острой крышей, из каждого выходила девушка. И в комнате печь была изразцовая, он до сих пор помнил ладонями её скользкую теплынь.

— Ты помнишь, какая была у вас печь, изразцы? — сказал он.

Аля сбилась, замолчала.

— Зеленоватые, фигурные, — растерянно подтвердила она и закрыла глаза, вспоминая. Лицо её потеплело. Она спросила, помнит ли он, как они прощались. Он не помнил.

Она вздохнула.

— Как вы мне нравились, Павлик! Вы говорили мне такие слова, — она удивлённо засмеялась.

— Хорош был гусь.

Было завидно, что вся эта сцена прощания, наверное, сейчас стоит у неё перед глазами, и там он, молодой, чубатый, в длинном старомодном плаще. Он же ничего увидеть не может, для него всё забылось, пропало.

— ...Я и на математический пошла, чтобы утешить отца. Я думала, что мы с вами, Павлик, будем вместе... Будем работать...

Она перебирала свои мечты без грусти, иногда покачивала головой, как над забытыми детскими игрушками. А Кузьмин пытался прикинуть, каким он тогда представлялся ей: уже взрослым, настоящим мужчиной, приехал откуда-то с Севера, хвастал, наверное, строганиной, тузлуком, северным сиянием. Талантливый, но легкомысленный, не знающий себе цены, — это отец напел ей.

Спустя столько лет и вдруг узнать, что кроме той жизни, какую он вёл, где-то существовала другая его жизнь, которую кроили, рассчитывали, обсуждали, и эта несостоявшаяся судьба его, оказывается, как-то влияла на поступки людей, о которых он и забыть забыл...

Выходит, не то что «если бы да кабы» или «допустим-предположим», а для него всё было заготовлено впрок, колея проложена, и, не закрутись он тогда на Севере, приехал бы в Ленинград, и Лазарев доломал бы его поступить в аспирантуру.

Словно бы развернулся перед ним пожелтевший проект его собственной жизни, случайно не осуществлённый. Не эскизный, а детальный, где всё размечено — аспирантура, защита кандидатской, работа на кафедре, предусмотрена и докторская, и работа по НИСу, лекционные часы, денежки... Только сейчас он стал понимать, какую жизнь он потерял, совсем иную, чем он вёл, — вдумчивую, глубокую, плотно заполненную трудом, наедине с бумагами, книгами...

— Уж кто-кто, а вы, Павлик, имеете сегодня полное юридическое право потребовать своё. В конце концов, это же действительно ваше, собственное, недополученное. Доложит о вас Несвицкий, по его секции, я это организую, и плевать вам на Лаптева, ничего вы ему не должны...

Какие-то неизвестные ему воспоминания, какие-то минувшие чувства делали сейчас Алю яростной его защитницей. Она убеждала его со всей силой и гневом.

— Чего вы боитесь? Ну чего? Надо воспользоваться моментом. Сейчас самый раз.

Она бралась всё сделать так, чтобы он ни о чём и не заботился. Только выступить, объявиться, ничего больше не требуется. И, глядя на её гибкие сильные руки с вишнёвыми ногтями, Кузьмин понимал, что у неё получится в лучшем виде. Было заманчиво довериться, встать на ступень эскалатора и плавно подниматься, подниматься... Ещё приятней было, что есть на свете кто-то заинтересованный в нём самом, в его славе, успехе. У Нади это получалось не так, Надя не вызывалась помочь, она скорее руководила им, решала за него, вмешивалась. Обижалась, если он не слушал. Она считала, что он заслуживает большего, раздражалась на то, что он не умеет добиться... Как всегда, думая о ней, он досадовал и на себя и на неё. Мысленно он сравнивал их, и дело было не в том, что Аля была моложе и красивей, — на такое Кузьмин не клюнул бы, — она была ещё частью другого мира, интересного, значительного, деятельной, наглядной частью той несбывшейся его жизни. Она была как бы заложена в том проекте.

— ...Что было, то сплыло. У меня в голове, Алечка, глубочайший вакуум. Я в математике уже ничего не потяну. Поздно. Забыл. Мозги уже на другое приспособлены.

Она не отмахнулась, а оглядела его оценивающе и осталась довольна.

— В математике не обязательно заниматься математикой. Уверю вас, Павлик. Если бы... Да и никто от вас не может требовать. А какие-то общие положения — так это за несколько месяцев. Я берусь. Тут важно другое...

Действовали не слова, а убеждённость, она и голоса не повышала, сидела в кресле, спальчив руки, иногда чуть наклонялась к нему, уверенность её действовала завораживающе. Он любовался этой волевой, мудрой женщиной. Кто бы подумал, что из того заморенного утёнка вырастет такая... Впрочем, он мог гордиться, он тогда уже заметил её, что-то в ней было... Какой-то бес в ней играл. Открытые коленки ей отливали тугим яблочным блеском. Всё в ней стало вызывающим, поддразнивало. Тогда, в ванной, она вела себя вольно и позволяла делать с собою что угодно. Что его всё-таки удержало? Почему у них всё разладилось?..

Он со злостью подумал о том, что, в сущности, это Надя уговорила его окончательно бросить математику. Она уверила, что наука не для него, не его стихия.

— ... Вы, Павлик, заслужили пожинать плоды. Что тут плохого? Лучше вы, чем кто-то другой заработает на этом. С какой стати? А представляете, какой фурор произойдёт! — Она расхохоталась, и Кузьмину тоже стало весело. Господи, почему бы не повертеть руль своей жизни, подумалось ему. И тут же Аля сказала: — Что вы так серьёзно к этому относитесь? Такие все стали шибко ответственные...

Когда он вернулся в Ленинград, Лазарев уже умер, Аля уехала, квартиру заняли какие-то молодожёны. Одно время Кузьмин ходил с работы по Фонтанке, мимо того дома, и засматривал в знакомые окна. Там сушились пелёнки, кричало радио. Были те же обои и та же печь. Никто не знал и не помнил, что здесь жил Лазарев. Впервые, кажется, Кузьмин пожалел об этом странном человеке, который по-своему любил его, несомненно любил, а Кузьмин относился к нему пренебрежительно, тяготился его попреками, поучениями; занудный старикан, бедолага — вот кем был для него Лазарев. Честно говоря, даже чувства благодарности он не испытывал. Лазарев тяготил. С ним надо было держаться настороже, по малейшему поводу он обижался, требовал разъяснений, извинений, Кузьмин быстро уставал от его воспалённого самолюбия. Особенно в ту командировку. После Севера, отчаянной самозабвенной работы, этот Лазарев со своим брюзжанием и соблазнами выглядел отсталым от жизни, поглупевшим. На Севере города ещё сидели на головном пайке, без электроэнергии. В часы пик приходилось вырубать фидера лесозаводов. На Кузьмина наседали и сверху и снизу. За военные годы энергетики привыкли не считаться ни с какими правилами, ставили трансформаторы без фундаментов, на брёвна, на камни, перегружали

сети, вешали аварийные временки, всё кое-как, на соплях — не хватало мощностей, материалов... Энергетики должны были изворачиваться, но в то же время они были хозяева положения, директора предприятий ломали перед ними шапки, выпрашивая хоть десяток киловатт. И вот теперь он, Кузьмин, должен был приводить их, героев военных лет, в чувство, ставить на место. Он лишал их власти. Он хотел привести сети в соответствие нормам, требовал от энергетиков и от начальства всего того, что было положено. И те и другие были недовольны им, но ему нравилось воевать на два фронта, он шёл напролом. Не вводил подстанции без релейной защиты. Не допускал перегрузок. «Стройте новые линии», — отвечал он на просьбы и упрёки. И в то же время производил рискованнейшие включения... Рассказывать об этом Лазареву было бесполезно.

— Вы кем сейчас работаете, Павлик?

Обычное монтажное управление, каких десятки, а может, и сотни. Всесоюзного значения не имеет. Кабинет маленький. Секретарша. Правда, она же машинистка и завхоз. Комфорта нет. Чай, кофе не приносят. Журналисты не бывают.

— Дальше некуда, — сказала Аля. — Куда вы попали? Ни минуты нельзя там оставаться... — Она шутила, смеялась, а потом разом посерьёзнела. — Чего жалеть. Конечно, привыкаешь, любая работа может доставлять удовлетворение, — наблюдая за Кузьминым, она как бы подбирала верную ноту. — Особенно талантливому человеку. Талант, он всюду талант. Но теперь, когда всё выяснилось, теперь-то какой вам смысл?.. Что вам дала ваша работа?

— Ничего, — сказал он.

— Вот видите. А помните, как вы мечтали получить орден?

Они оба улыбнулись одинаковыми улыбками.

...Следовательно, он в тот приезд так и мечтал, и не стеснялся признаваться.

— Послушай, Аля, а как это было?

Переносица её чуть сморщилась, все эти отвлечения, воспоминания не входили в её план, но, не показывая вида, она рассказала, как он хвалился своим назначением, был упоён тогда своей властью: шесть машин, рации, вызовы в обком...

— У папы записаны ваши высказывания, Павлик: «Солдаты своё дело сделали, теперь спасают страну инженеры». Папа спросил: а как же учёные, они ведь сделали атомную бомбу? Вы на это сказали: бомба, да, но она нас не накормит и не согреет. Сейчас людям нужны самые элементарные блага.

Неужели он так и сказал — «блага»? Это было совсем не его слово. Но Лазарев записывал точно. Лазарев сидел за большим обеденным столом. На одной половине ели, на другой лежали книги, конспекты, там Лазарев занимался. Он хохлился в меховой солдатской телогрейке, говорил с ужимочками, ехидством, но все его доказательства оборачивались против него, потому что какой же смысл было обрекать себя на подобное прозябание? «Всё это прекрасно, — думал тогда Кузьмин, — но чего вы добились, дорогой учитель? Чего достигли?» А он, Кузьмин, был нужен, его ждали, он командовал сотнями людей, тысячами и тысячами киловатт... Орден ему всё же дали. Через два года.

— Вот видите, — повторяла Аля. — Что же вас теперь держит? Я не пойму. Чего-то вы недоговариваете, — она слегка раздражалась, еле заметно. И какая-то была нетерпеливость в ней, иногда она поглядывала на раскрытую дверь, прислушивалась к голосам в соседних комнатах.

— Так-то так, Алечка, — сказал Кузьмин. — А собственно, что ты уж больно озабочена моими делами?

— Потому что это несправедливость. Мне за папу обидно, что он не дожил. Не узнал. — Витая пружинка волос у её виска качнулась, и Кузьмин, подобрев, сказал:

— Вот это другое дело.

— Нет, не другое, — тотчас с новым накалом подхватила Аля. — Вы, Павлик, напрасно меня отделяете. Папа не узнал, зато я узнала. Во мне всё теперь всколыхнулось. Ведь я потом, когда вы, Павлик, не вернулись, я ведь тоже разуверилась в отце. Занималась анализом по Лаптеву. Прячала его учебник от отца. Жалела его, считала, что у него пунктик. Короче, я тоже его предала... Поверила Лаптеву. В этом-то мерзость... Он это почувствовал, вида только не подавал. А перед смертью тётке, сестре своей, сказал, что Алечке так легче прожить будет, пусть думает, что всё правильно, по заслугам и почёт, отец убогий, юродивый, только жалко, когда узнает, что отец-то прав был, расстроится и клясть себя будет. Вот что мучило его. Он про нынешний день беспокоился.

Голос у неё вился ровно, с лёгким дымком, как стружка на станке, и глаза смотрели на Кузьмина не мигая.

— А больше он ничего не говорил?

— То есть?

— Значит, он считал, что... словом, ни в чём не виноват?

— Виноват? В чём?

— Нет, я так, — сказал Кузьмин, напуская рассеянность. — Я про Лаптева.

— Что именно?

Руки её вцепились в подлокотники, глаза, обведённые синью, смотрели накалённо, с недобрый блеском. Она замерла, готовая броситься защищать отца. Неужели она не знала про то, что творилось на кафедре? И сам Лазарев никогда не обмолвился? И никто кругом? Или же Лазарев дома всё это преподносил по-своему? А может, у него были какие-то оправдания? Может, он верил, что в математике идёт классовая борьба, что Лаптев проповедует идеализм?

Вся сила встревоженной, обеспокоенной любви к отцу была сейчас в ней, в единственной его дочери, которой он заменил умершую мать, вынырнул в блокаду. И эта ответная, запоздавшая, но оттого нерассуждающая любовь сжигала все возражения.

Какие доказательства, в конце концов, были у Кузьмина?

Он поднялся, подошёл к камину.

— Ну бог с ним, с Лаптевым... дался тебе этот старец.

Он взял её прохладную руку, потянул к себе так, что Аля поднялась.

— Оставь Лаптева в покое. Столько лет прошло. У них с отцом были свои счёты. Нам их ныне трудно судить.

— А кому же судить? Кто вместо нас, нет уж, извините, — она сжала его пальцы. — Я ж одна у отца, больше некому заступиться за него. Я обязана его реабилитировать, это мой долг.

— В чём реабилитировать? — чутко вскинулся Кузьмин, и Аля отняла руку.

— Они его считали неудачником! Они хотят, чтобы так и остался он для всех навечно неудачник, бездарь. Им выгодно, чтобы он сгинул в неизвестности. Концы в воду. Потому что если сейчас всё выплывет, тогда надо признать, что он был прав. А это что значит? Понимаете, Павлик? Что они виноваты. Поэтому они ни за что. Они на всё согласны, лишь бы было шито-крыто. Боятся, как бы преступление не обнаружилось. Они и вас готовы угробить. Думаете, Несвицкий напутал про Кузьмина? Я уверена, что специально такой слух распространили.

— Ну, ну, Алечка, это ты накручиваешь.

— Эх, Павлик, вы их не знаете. Как папа от них страдал! Он плакал по ночам. Вокруг него... его не любили. Думаете, я не в курсе? За то, что он не был соглашателем, за то, что он боролся за молодых. За Лядова, за Раевского, за вас, между прочим. Я к нему трезво, я объективно, не потому что мой отец. Думаете, он не знал, что ему грозит, когда он печатал вашу статью? Знал. — Пылко-вишнёвый жар высветил изнутри её шею, щёки. — У него написано было в тетрадке эпитафией: «Буду стоять у позорного столба, пусть грязью кидают, плюют, готов, всё вытерплю, потому что страдаю за истину. И слава богу, что есть за что пострадать!» Мучился и радовался. А вы, я же понимаю, Павлик, вы стесняетесь вступить за него, предаёте...

Пламя, что гудело в ней, ожгло и его незаслуженной обидой. Он-то щадил, заслонял ей от папенькиных дел, а она, не разобравшись, лупила наотмашь...

— Ты вот что, Алечка, ты не наступай... Твоей заслуги во всём этом деле — нет. Ты доцент — вот и занималась бы... А на готовое мораль напускать — это мы мастера. Льву Ивановичу эта бодяга не нужна, не воскресит. Это всё тебе нужно. Как же, дочь того самого Лазарева, учителя того самого Кузьмина, семья потомственных математиков! Вот и вся твоя забота обо мне. Я-то думал, чего ты бьёшься. А ты за себя хлопочешь!

— Замолчите! Как не стыдно... Да что ж это такое... Вы, Павлик... всё, всё перевернули! Выгородить себя хотите!

Оглушённые от злости, не слыша друг друга, они неуступчиво наскакивали, схватываясь всё с большей яростью. Кузьмин уже не мог сладить с собою, хваленая его выдержка рухнула, перед ним дёргался её большой лягушачий рот, душил приторный запах косметики, хотелось схватить её за руки, стиснуть, чтобы хрустнуло, чтобы оборвать её сверлящий голос, чтобы она наконец заплакала. Почему она не плакала?

Угадала она или подчинилась его мыслям, но вдруг сникла и, бесслётно всхлипывая, сказала:

— Простите меня, Павлик. Я не должна... Нервы у меня... Я, может, преувеличиваю отца. Наверное. Он был для меня всем. Он меня выкормил. Это я только теперь понимаю, как трудно ему было. Может, он из-за меня и не сумел стать... Вы ни при чём. Это я виновата...

Злость Кузьмина разом схлынула, перед ним открылась любовь, завидная, нелёгкая. В душе он обругал себя: существует ведь честь отца, честь фамилии, и слава богу, что Аля бьётся за эту честь, хорошо, если б сыновья Кузьмина когда-нибудь вот так же отстаивали его. Простая эта подстановка чрезвычайно Кузьмина впечатлила: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Давно известная эта истина была одной из тех житейских истин, которые он любил приводить, а вот к своей собственной жизни почему-то не применял. Пожалуй, это самое трудное требование к себе... Лазарев был для неё всем — и отцом и матерью; с ней он был добрым, нежным, страдающим, она не знала его таким, каким он бывал на кафедре, желчным, с тягостной подозрительностью. Всё время хотелось перед ним

оправдываться. Скрюченный, жёлтый, полусогнутый в каком-то извороте, как бы что-то выглядывая, Лазарев внушал опасение...

Но, слушая Алю, вспомнилось и другое: как Лазарев весело и ловко готовил дома голубцы, колдовал над латкой, прицокивая языком, как подкладывал в тарелку Але, и в эти минуты желчность его, скрюченность превращались в уютную ворчливость старенького заботливого домового.

Они существовали порознь, отдельно: домашний Лазарев и институтский Лазарев, сложить их Кузьмин не мог, и не знал, что ответить Але, не знал, кем же он был для него, его учитель.

Умирал Лазарев тяжело, рвался из смерти, как из капкана. Болезнь свою ненавидел, убеждённый, что его болезни радуются враги, болезнь их союзница, что это недоброжелатели напустили на него порчу. До последней минуты он видел себя жертвой, считал, что погибает за истину.

Неизвестно, зачем Аля рассказывала про это. Обдуманность её речи нарушилась, она не старалась, чтобы Кузьмин понял: какие-то наволочки, медный Будда, клюквенный морс, книга Иова захлёб перемешались в её рассказе.

Пожалуй, только про Иова он кое-что догадался. Когда-то Лазарев пытался рассказать ему испытания, постигшие Иова, и как Иов сохранял, несмотря на страдания, свою веру. Какие там были испытания, забылось, помнил Кузьмин только общую идею, и то странно помнил, вместе со словами Лазарева: «Слабый не должен быть добрым». Считал ли Лазарев себя слабым? К чему он это сказал?

Ныне, всплыв из прошлого, Лазарев напоминал тех изобретателей, что время от времени настигали Кузьмина. Изобретатели были особые люди — как правило, трудные и святые. Среди них не было плохих или хороших, изобретатели — это состояние, в которое попадали самые разные люди, и состояние это для них всех общее. Самые деликатные, робкие — с той минуты, как они изобрели, — преображались. Они шли как одержимые, ни перед чем не останавливаясь, ничего не боясь. Изобретение владело ими, оно заставляло их действовать. Конфузились, стыдились своей настырности и нечего не могли поделаться. Они — единственные на земле — знали, как лучше сделать то-то и то-то, это придавало им силу, волю, пока им не удавалось пробить свою идею. После этого они быстро возвращались к прежним своим натурам.

Почему же Лазарев мучился, страдал за идею Кузьмина, а сам Кузьмин нисколько? И не вспоминал, и только с досадой отзывался на лазаревские уговоры? А вот Лазарев действительно мог терпеть ради чьей-то чужой работы. Всё-таки это редкое качество, растроганно думал Кузьмин.

Он обнял Алю за плечи. Она не удивилась, ощутив его жажду утешить. В груди Кузьмина что-то повернулось, очистилось, на мгновение приоткрылась щель, и там, вдали, в солнечно-пыльном луче, он увидел себя, каким он был тоненьким, быстрым, юношеское лицо своё, пылающее восторгом жизни, он показался себе прекрасным, он понял, что тот Павлик Кузьмин и есть он, горячее дыхание юности слилось с теплом Алиного плеча...

Наверное, Аля и впрямь любила его. Почему они расстались? Почему он отказался от неё? А ведь что-то было, что-то происходило и произошло тогда...

— Что я вижу! Моя законная жена в объятиях... и кого! Попались! О, неверная! — с театральным весельем сыпал Корольков, оставаясь в дверях.

От него исходило преувеличенное благодушие и приветливость занятого человека, улучившего приятный перерыв.

Аля не отстранилась. Прижавшись друг к другу, они из двадцатилетней давности оглянулись на это непрошеное вторжение. Тихий студентик Корольков, как порозовело, налилось соками его длинное лицо, обтянутое когда-то серой угреватой кожей. Он тогда был бесцветно-робкий, с постно поджатыми бледными губами, воплощённая старательность, и голос у него был не нынешний баритон, а скрипуче-виноватый, типичный зубрила, грызун науки, которая действительно была для него гранитом. Ныне он стал важен, располнел, особенно книзу, бёдрами, задом. Полированный зачёс, уложенный волосок к волоску, закрывал лысину. Безукоризненно сидел на нём синеватый костюм в крупную клетку, не официально-вечерний, в меру помятый и в то же время строгий, деловой. Всё на нём было продумано: полосатенькая рубашка, широкий, но не очень, галстук, суровая морщинка между бровями и скромные очки интеллектуала.

Вопросы, восклицания... не ожидая ответа, он вспоминал однокашников, щурился в смехе, и чёрные зрачки его, сверяясь, поглядывали на Алю.

Она затуманенно, не слыша ни его, ни себя, отошла, присела на ручку кресла и стала смотреть на них обоих. Она явно их сравнивала. Она удалилась в ложу, оставив их вдвоём на сцене. Она сравнивала их фигуры, костюмы, манеру говорить, их усмешки и подстрекающе молчала. Может, от этого разговор их быстро заострился. Корольков высказал сочувственное удивление небольшой должностью Кузьмина: монтажное управление, да ещё номер 183, сколько же их? И как же так получилось, слухи ходили, что Кузьмин шёл чуть ли не на замминистра...

Тут был некоторый перебор, может умышленный, про замминистра и речи не было, а вот на начальника главка Кузьмина выдвигали, существовал когда-то и такой вариант его жизни. Переживал, что сорвалось, но зато сейчас, когда Корольков, поджав губы, соболезнующе закивал, Кузьмин подумал, что с тех пор главк тот реорганизовывался, и не раз, начальство там не удерживалось, на совещаниях производственники доказывали, что главк не нужен, и тогда в главке чувствовали себя неудобно, да и работа в нём была чисто конторская. Разумеется, монтажных управлений много, так ведь и математиков много.

Но Корольков не просто математик, он доктор математических наук!

Кто бы мог подумать, это, конечно, достижение, но, вообще-то, и докторов толпы, больше, чем монтажных управлений, и, значит, и главных инженеров управлений. На это Корольков неуязвимо заулыбался и сообщил, что он не только доктор, ах, если бы были возможности заниматься чистой наукой... какое это счастье, увы, он ещё советник какого-то комитета, на его плечах большая международная работа — проводить конгрессы, устраивать командировки, направлять с чтением лекций — особенно в развивающиеся страны, ещё с культурным обменом, помогать налаживать по линии ЮНЕСКО, он вице-председатель комиссии, какой именно — Кузьмин не уловил, во всяком случае нечто ответственное, требующее дипломатии, контактности, умения устанавливать научные связи между самыми разными организациями, научными обществами... Начал Корольков рассказывать несколько заносчиво, затем нашёл более выигрышный тон, небрежный, даже слегка ироничный, подтрунивающий над своими чиновными успехами.

Тем не менее Кузьмин пока что брал верх: он занял выгодную позицию слушающего, он мог хмыкать, недоверчиво щуриться. Корольков же должен был доказывать и невольно нагнетал, так что Але было наверняка неинтересно слушать его. В любом случае рассказывать о себе

рискованно, тем более отвечая на вопросы. Отвечающий неизбежно теряет, он как бы обороняется. Но при всём при том Кузьмин не мог скрыть некоторого ошаления — уж очень Корольков отличался от смиренного, неказистого Дудки. Так что тут Корольков имел преимущество. Он скромно признался, что поездки имели и свои радости как-никак повидал мир, язык освоил. Спросил — часто ли приходится Кузьмину выезжать за рубеж?

Однажды Кузьмин ездил с туристской группой в Югославию, да ещё в Польшу, и раз в командировку в ГДР. Смешно было бы хвастаться этим, поэтому он махнул рукой неопределённо — где уж нам с суконным рылом в калашный ряд.

А язык? И язык, он только английские журнальные статейки по электротехнике кое-как переводил — не больше. Корольков на это скорбно покивал: надо знать язык, сегодня специалисту нельзя без знания языка. Мы живём в эпоху информации. ЭНТЭЭР — это и есть информация плюс коммуникация!..

Так он набирал очки.

Уши у него торчали такие же большие, как и прежде.

Кто бы мог подумать, что из Дудки получится международный деятель. На семинарах ничем не выделялся, соображал туго, типичный слабак, Лазарев называл его точкой отсчёта, нулевой отметкой, единицей посредственности, держал его за старательную услужливость. И вот, пожалуйста — всех обскакал. Как это случилось? Как это вообще происходит? Из каких складывается случайностей? Не был отличником. Не побеждал на олимпиадах, на студенческих конкурсах, и в итоге, так сказать, жизненного конкурса — оказался впереди. Доктор наук. Научные труды. Книгу написал, подтвердил Корольков. Книга, международная арена, государственные проблемы... Если бы тогда, на семинаре у Лазарева, сказали, что наибольшего достигнет Дудка, — рассмеялись бы... По какой шкале, конечно, считать, что считать успехом, но для самого Королькова это взлёт. С каким терпением, с какой милосердной улыбкой отвечал он на ёрничанье Кузьмина.

— Да, брат, моя служба не просто тары-бары. Тут свой талант нужен. И представлять достойно, и самим собой оставаться. Я тебе скажу, интересно жить тоже способность, человек, интересно живущий, может принести больше пользы обществу...

— Ладно. Расхвастался, — сказала Аля.

— Я же не про себя, Алечка, — Корольков льстиво хихикнул. — Я про путешествия. Сейчас всем предоставлены возможности. Надо мир повидать. Как сказал один мудрец: пока ходишь, надо ездить...

Неясная полуулыбочка заслоняла ей лицо. Иногда Кузьмину казалось, что она демонстрирует своего мужа, показывает его и так и этак. Уверяет себя, что не ошиблась в выборе. И неказист, и осанист, и скромн, и на коне. Да и конь, видать, без спотычки.

И снова Кузьмин спрашивал себя: за что Королькову так подвалило? Как действует этот механизм удачи?

А Корольков описывал Бейрут, Токио, Дели.

Разноцветный шар поворачивался, сверкая океанами, огнями ночных городов, и было ясно, что Кузьмин уже не увидит ни японских вишен, ни горячей африканской пустыни. Не успеет. Разве что по цветному телевизору. Жизнь, что всегда маячила ещё впереди, оказалась вдруг за спиной. Тайфуны и джунгли детства, заморские небоскрёбы, зеленоватые айсберги, все мечтания, раскрашенные книгами, снами, прощальной болью шевельнулись в душе. Глядя на Королькова, он подумал о том, как много прожито и как быстро, и было до слёз жаль остатка

причитающейся жизни. Он имел в виду жизнь полноценную, без старости, когда ещё можно лазить по горам, работать без усталости, любить женщин, подниматься на вершушку анкерной опоры... Тающий этот кусочек жизни словно лежал в его руке, и Кузьмин примеривался и взвешивал, и сокрушался над ним. Вот она, блистающая сквозь Королькова его иная жизнь, которую ему тоже хотелось заполучить.

Ах, Корольков, Корольков, что значит планида, не родись красивым, а родись счастливым. И как это ловко сложилось у него одно к одному — и жена красавица, и большие дела, и большой почёт, и никаких забот. Конечно, имеются у него свои хлопоты, но это не заботы Кузьмина, план у него не горит, аварий не бывает, его заботы тоже как бы высшего порядка... Есть такие люди, которым достаётся всё лучшее.

Корольков и Аля переглянулись

— Эти сласти не для нас, технарей, — с вызовом сказал Кузьмин. — Наше дело маленькое: паяй, включай.

Ясно, что Корольков зашёл сюда не случайно, он был в курсе, однако помалкивал, тянул, не хотел начинать первым. Корольков мог ждать. Его устраивала эта демонстрация своих успехов, эта возможность гарцевать, возбуждать зависть и удивление.

Кузьмин упорствовал, они тянули, кто кого пересилит, кто первый откроется, и Аля, мерцая зелёными глазами, бесстрастно наблюдала за ними.

— Как говорят англичане, — рассуждал Корольков, — every dog has his day!

В такого рода состязаниях Корольков поднаторел, и Кузьмин понял, что придётся начать самому, только бы найти нужный тон, такой, чтобы сбить спесь у Королькова.

— Меня опять приобщить пытаются, — начал он неуверенно, полный сомнений, — свалилось тут одно открытие как снег на голову.

— Слышал, слышал... Что-то насчёт критериев? Это тот твой завальный доклад? Но я, брат, в этом ни бум-бум. Ну что ж, благославляю. Лучше поздно, чем никогда. То был фальстарт, теперь уж никакой Лаптев больше не помешает! Как сказал Гагарин — поехали! — Корольков подмигнул, словно похлопал Кузьмина по плечу.

Как будто всё дело состояло в том, что Лаптев помешал. Не сбил с толку, а именно помешал, и Кузьмин отступил, не в силах одолеть помеху. Такая, значит, сложилась версия.

— Поехать можно, да только, я думаю, зачем мне это, — лениво, даже свысока произнёс Кузьмин и почувствовал, как это действует. — Всякому своё мило... — он не удержался, тоже подмигнул. — На твоё местечко это бы я ещё согласился — по границам пошататься. Так ведь не уступишь? А самому пробиваться — скучно.

— Почему обязательно на моё?

— Потому что послушал тебя — лучше твоей должности нет.

— Это верно, — милостиво согласился Корольков. — Но многое, Паша, зависит от того, как относишься к своей работе. Я, брат, умею любить то, что делаю...

Аля вздохнула и спросила Королькова, договорился ли он с корреспондентом, узнав, что нет, бросила едко: «Ну конечно». Извинилась перед Кузьминым и вышла, Корольков обеспокоенно проводил её глазами.

— Тянет она меня... точно буксир. Теперь вот в Академию тянет, — с тревогой сказал

Корольков, но тут же встряхнулся, расстегнул пиджак, засунул руки в карманы, ноги расставил пошире. — Да, подвалило тебе, брат, выиграл первый приз... Чего уж тут выламываться, ручаюсь, не чаял, не гадал...

— Ты что ж завидуешь? Всего у тебя полно, да ещё бы поболе?

— Пригодилось бы. В самый раз. У меня хоть должность велика, а золотом не очень обеспечена. На бумажных деньгах существую... Но ты не думай, я своё дело умею делать. Есть в этом свой резон: нет смысла хорошего математика отвлекать на оргработу. Я себе цену знаю. Невелика. Что могу, то могу. Найти себя — это хорошо, но сделать себя — это, Паша, тоже заслуга.

— Ты, значит, сделал.

— Сделал. Не жалуюсь. Я, брат, всего своим трудом добился. Без всяких протекций и озарений. Вот этими, — он поднял руки, помахал перед Кузьминым. Руки у него были большие, грубые, такими бы тросы натягивать, кабели выгибать, и Кузьмин рассмеялся, представив Королькова в этих сволочных тоннелях.

Корольков покраснел, шея вздулась, но лицо оставалось приветливым, с той же резиновой улыбочкой.

— Смеёшься? Чего ж ты смешного нашёл?! Это я бы мог над тобой посмеяться.

— Видишь ли, я-то думал, что у вас голова нужна, способности, а руками... Или это в смысле руководить?

— Ты язык свой придержи. Все беды от языка происходят. Я тебе, Паша, напомнить хочу, что ты мне сказал, когда от Лазарева выпроваживал. Или позабыл?

— Я? Тебе?

— Мне, мне, кому ж ещё, — он подозрительно вглядывался в лицо Кузьмина с глупо раскрытым ртом. — Ты жил у них. Я пришёл. А ты, при Але, выставил меня...

— Хоть убей, не помню.

— Взял меня за грудки и посоветовал обучать дефективных, такая математика, мол, мне по силам.

— Ишь ты, с чего это я взъелся?

— А как же, ты был пуп земли. Сказочный, быстро растущий принц. Залетел в наше болото, соизволил обратить внимание на Алю.

— А-а, вот оно что, — Кузьмин облегчённо улыбнулся над всеми ними тогдашними. Он придвинулся к камину, протянул руки к огню, который был лишь изображением огня посредством красных лампочек.

— Ещё ты сказал про Алю: не надейся, Вася, не отломится тебе, ищи себе попроще... И это запомнил?

— Да, как-то не врезалось. Сколько, знаешь, было подобных собеседований...

— Шути, шути... А всё-таки промахнулся ты, Паша. Ещё как. По всем пунктам просчитался. Непростительно при твоих-то способностях. Вот оно, друг Паша, какой оборот приняло. Кто из нас кто? Кто кем стал? Судьба играет человеком!

— Ах ты, граф Монте-Кристо!

— Хочешь меня втиснуть в матрицу. Не упрощай. Я ведь не злорадствую. Напрасно ты себя утешаешь. Я анализирую.

— Ну, давай, давай.

— Всё это, брат ты мой, не случайности. Не то что мне повезло, а тебе нет. Извините, на «повезло» причина есть, существует запрограммированность! То, что в древности называли судьбой, а сейчас — гены. В некоем смысле закономерность...

Помахивая рукой, он неторопливо прохаживался из угла в угол, как бы диктуя, подчёркивая каждую фразу, потому что каждая его фраза была полна значения, произносилась не зря, и не следовало Кузьмину так уж безучастно сидеть перед камином.

Если тряс за грудки Королькова, значит, были какие-то чувства к Але. Что-то, значит, насчёт этой Али трепыхалось.

Опять возник тот молодой Кузьмин, опять совершил подвох. Вёл себя грубо, бестактно, а кроме всего прочего непонятно. Чего он, собственно, добивался? И если он выгнал Королькова, то дальше-то что, почему после этого он уехал и словно бы отрубил?.. Что-то при этом забрезжило расплывчатым пятнышком, как дальний выход из тоннеля, как окошко в ночном лесу, скорее предчувствие, чем свет. Если б он мог вспомнить...

Прошрое, казалось сугубо личная его собственность, местами было тщательно укрыто от него, недоступно. И странно, что эти тёмные провалы, эти пустоты для кого-то другого — навсегда врезавшиеся минуты, полные звуков, красок.

Почему-то приблизилось не то, чего он ждал, а угольной лампочкой освещённая передняя Лазаревых. На стене велосипед, дамский, с голубой сеткой. Кажется, Алиной матери. Под ним старинный счётчик Всеобщей Электрической Компании, и что интересно, почему, наверное, и запомнилось: под счётчиком медные круглые амперметр и вольтметр, уцелевшие здесь, очевидно, с начала электроосвещения. Стояла огромная вешалка, увешанная старыми макинтошами, ватниками, ещё был плакат: женщина с красным флагом на баррикаде. А у дверей лежала рогожа. И слово-то он это забыл — рогожа! Плетённая из мочалы. Мочалка, с чем в баню ходили. Ничего этого нет, ни мочалок, ни рогож, разве где-нибудь в Коневске, куда ему давно пора съездить посмотреть, как работает новое оборудование...

— ...От меня, представь себе, Паша, кое-что зависит. Ты с этим столкнёшься. Я не академик, но могу поспособствовать не хуже. В смысле паблисити. С выходом за рубеж, с выступлениями. На одном Лаптеве ты не вспорхнёшь...

— Вот что — Лаптева не троньте! И Але скажи, чтобы Лаптева оставили в покое.

Брови Корольков поднялись, замерли, и вдруг он просиял:

— Ну, ты, брат, даёшь!.. И правильно! Молодец! Я ведь ей тоже указывал! Понимаешь, Лаптев — гордость нашей математики. С ним в капстранах считаются. Зачем его подрывать, не нужно, давайте переступим личные отношения. Я учитывая — да, её отец, да, всё прочее, но если политически невыгодно? Приходится нам быть политиками... И потом, Лазарев тоже не сахар.

— Чего ж она твоих указаний не слушает?

— В своём отечестве, как говорится, нет пророка.

Кузьмин с интересом посмотрел на Королькова.

— Не признаёт, значит?

Корольков резко повернулся к дверям, где кто-то проходил, зачёл его редких волос сдвинулся, приоткрыв белую плешь.

— Сейчас ты опять изображаешь принца, — обиженно сказал он. Спустился благодетель-реставратор. Восстановишь имя её отца. Освятишь своим талантом. Кругом таланты, творцы, создатели, открыватели. Работников нет, зато талантов и поклонников завалишь.

Тусклый свет там, вдали, усилился, поярчел. Злость весёлыми иголочками прошла по груди Кузьмин.

— Позволь, позволь, Вася, что ты там насчёт судьбы толковал, в каком смысле ты понимаешь, что это закономерность?

Если Корольков что и почувствовал, то, надо отдать ему должное, не оробел, отвечал твёрдо:

— В том смысле, что нет в тебе боевитости. Не борец ты. От первой неудачи вянешь. Тебя стукнуть посильнее — и ты готов. Что, не так? Ты в моих условиях, при моих данных, застрял бы учителем.

— Хороший учитель — это великое...

— Это мы с тобой сегодня понимаем. А тогда как ты мне сказал про школу дефективных? Ты правильно предрекал. С одной поправочкой. Ты по себе мерил. Если б тебя лишить способностей... Но ты не учёл, Пашенька, что зато у меня есть характер. Мне, брат, ничего не доставалось за так. Я за всё по высшей ставке платил. У меня на какую-нибудь задачку втрое времени уходило. Впятеро! Задницей брал, но добирался, а принесу — так весь семинар считает, что я случайно решил. Ты привык, что тебе всё с неба сыпалось. А я тащил, как муравей. Если бы, конечно, тебя под стекло, охранять от всяких передраг, ты бы расцвёл, ты бы развернулся! Но жизнь, брат, тем и хороша, что она и бесталанным шанс даёт. Наша жизнь, она... демократична! — Он рассмеялся, довольный найденным словом. — Она не для аристократов. Для трудяг. Я-то приспособленней оказался, а? Может, это подороже исключительных способностей. И пользы принёс не меньше...

Как он торжествовал, этот сукин сын, как он куражился. Не думал Кузьмин, не гадал, когда спрашивал насчёт судьбы, что наткнётся на такое, словно осиное гнездо ворохнул. Слова Королькова жалили, одно больше другого.

— ...Щёлкнули тебя в министерстве — скис! Щёлкнули тебя Лаптев тогда скис! Легко ты скисаешь! Дитё удачи!

— Бывает, бывает, — согласился Кузьмин.

...На второй месяц пребывания в министерстве он выступил против проекта Булаховской гидростанции. Не было никакого смысла и никакой нужды разворачивать столь дорогое строительство. Он приводил цифры, опровергнуть их было невозможно, поэтому возражали общими возражениями, потом его вызвало начальство и мягко пожурило: не с того он начинает свою деятельность, ниспровергать дело нехитрое, а что взамен? Но он же предлагал станцию на угле. Вот и хорошо, сказали ему, защищай свою станцию, выступай за, обосновывай, а против и без тебя хватает.

Но он требовал спора по существу и потребовал доказательств публично, в интервью с одним писателем. Беседу опубликовали в газете, с этого и пошло: вскоре его

откомандировали на укрепление, потом на усиление в трест, оттуда на стройку, — и правильно, он вёл себя глупо, как бодливый баран.

Наконец он перестал упорствовать, но было уже поздно.

А может, потому и не вернули его, что сдался, может, надо было продолжать борьбу, тем более что сторонники у него появились даже среди проектировщиков. Но он боялся превратиться в сутягу. До каких пор можно или нужно настаивать на своём? Вот тоже проблема. Есть ведь какие-то разумные пределы?

Писатель уверял, что если бы Кузьмин устоял ещё месяц-другой, то они победили бы. В ЦК уже склонились в их пользу. Впоследствии писатель написал про это пьесу, об инженере, который выступил подобно Кузьмину и не сумел продержаться буквально день. На сцене жена обвинила этого человека в малодушии, друг считал, что он погубил дело, все клеймили его, и никто не подумал, что он первый начал, что он боролся сколько мог, что он был смелее их всех. Даже писатель не подумал.

— ...Однако не совсем скисал, — сказал Кузьмин. — Не совсем, если меня снова щёлкали. Кто гнётся, тот и выпрямляется...

Оправдание ли это?.. Он приехал на Булаховскую за полгода до затопления. Посреди весенней цветущей долины стояла бетонная плотина. Гигантская угрюмая бетонная стена. Перегораживала пахучие поля клевера, перелески, рощи. Всё это уйдёт на дно. Теперь уже ушло, затянуло илом, тиною. Он был виноват перед этой долиной.

— А ты, значит, без поблажек обходился, — задумчиво протянул Кузьмин, — сам всего добивался?

Он продвигался почти наугад. Еле-еле вспомнилось, как он просил у Лазарева за Дудку, не удалять его из семинара. И насчёт Али, когда он увидел, как серьёзно для Королькова чувство к Але, и сжалился. Слишком неравны были их силы: этот отставший на курс, какой-то затрущенный, дохлый Корольков — и он, в меховой куртке, широкоплечий, восходящая звезда советской энергетики...

Какой-то был разговор, почти ничего не помнилось, воспоминания растворились, перешли в плоть, в сны, смех, жесты, в невнятную тоску, в жилистую терпеливость, стали частью его самого...

Даже этот Корольков, Вася-Дудка, и тот чем-то вошёл в него, ещё там, в начале пути. Дал возможность проявить свою доброту и щедрость.

— Ах, не всё ли равно, Дудка, — размягчённо сказал Кузьмин, — и тебя можно носом ткнуть, да неохота мне в считалки играть. Молодость прошла, вот что грустно... Помнишь, как мы пляс устроили в общежитии на Флюговом?

Некоторое время они разглядывали тот буйный вечер, с джазом третьекурсников, и другой вечер, под патефон, их студенческую жизнь с тихой читалкой, с разгрузкой овощей на Сортировочной, с походами на Карельский, с танцзалом, где вдоль стен стояли девицы, которые не очень-то льстились на студентов... Румба, полечка, буги, русский бальный... Они припоминали наперебой, и Кузьмин растрогался от своей доброты, от жары танцулек и своих партнёш — где они, королевы Мраморного зала и Промки?..

— А ты по-прежнему о себе воображаешь, Паша...

Вот тут-то Корольков и нанёс свой удар и засмеялся в лицо размякшему Кузьмину. Не стесняясь, напомнил Корольков ту его уступку, подумаешь, монаршья милость, грош ей цена,

плевать он хотел на такие благодеяния, всё равно он добился бы Алиной любви, что бы там ни было.

— ...Не преувеличивай ты себя, Паша, от души советую тебе, лапушка, опять можешь промахнуться, потому что пока ты ещё величина мнимая. Что ты можешь? Ничего пока не можешь. И двигаться тебе надо осторожно, тебя сейчас любой обидеть может. Но я тебе помогу, так и быть уж...

Щёлкнул контакт, и словно что-то в Кузьмине включилось, загорелось. Сам он и не пошевелился, но обозначились мышцы, массивная челюсть, разлапистые огромные ноги.

— Ах ты, Дудка, Дудка... Не нужен ты мне. У меня найдутся помощники, и он медленно стал перечислять: — Анчибадзе, Зубаткин, Нурматов, — и оборвал, а потом, едко улыбаясь, сказал: — Обойдусь без тебя. А вот я тебе нужен. Верно?

— Зачем?

— А если я скажу Але, что ты не хочешь помочь мне? — Он подождал и прицельно прищурился. — Нет, напрасно ты так держишься, будто ты лицо независимое. Так что со мной надо по-хорошему. А то у тебя могут произойти семейные сложности.

И самому Кузьмину была неприятна эта улыбка, и подлый его тон, и страх, мелькнувший в глазах Королькова, тут же погашенный фальшиво-воинственным смешком.

— Поверхностные у тебя суждения, Паша, ну да бог с тобой... — И ловко перешёл на Анчибадзе и прочих молодых светил, которые ничего не умеют ни провести, ни организовать, вечно напутают...

Из соседней комнаты донёсся резкий голос Али. Кузьмин спросил быстро, что с записями Лазарева, куда они делись.

— Они у Али, — так же быстро и тихо сказал Корольков. — Я не читал. Честное слово. Она не даёт. А что?

Не даёт, значит, сама читала, подумал Кузьмин. И вовсе не значит, тут же возразил он, если бы читала, то понимала бы Лаптева, побаивалась бы... Что там было записано у Лазарева? Попросить у Али почитать? А зачем?

Попросить или не спрашивать? Не потому, что боялся отказа, а потому, что не знал, хочет ли он сам прочесть эти тетради, где, наверное, было и его прошлое, и всякие нелестные размышления о нём, наблюдения... А может, лестные размышления, тогда тем более горько... И про Лаптева, и про то, как было со Щаповым... Как это прочтается сегодня — в оправдание Лазарева? Или же в обвинение его? Искренность — это же ещё не оправдание.

Однажды Кузьмин тоже записывал себя. Надя после ссоры уехала, казалось, навсегда, и он изливал свою душу в тетрадку. Недавно нашёл несколько страничек без начала и конца. Он не сразу сообразил, что это про него. Узнал себя только по почерку. Общие рассуждения о любви были банальны, зато некоторые подробности поразили его. Как он вытирал стол старой тряпкой и увидел, что тряпка — остатки Надиной ночной рубашки. Выцветшие красные цветочки напоминали первые месяцы их жизни: солнечные архангельские ночи, как он спал, уткнувшись в её фланелевое плечо. Тут страничка оборвалась... Ему хотелось узнать, что было дальше... Если бы он записывал хотя бы самое главное, ведь у него была такая плотная, насыщенная жизнь, столько встреч, событий... Но для чего нужны эти записи? Для чего тащить и копить своё прошлое? Он ведь не историк, не писатель, какая же польза от этих записей?..

...Её энергия захватила, закружила, невозможно было сопротивляться властному её напору. Не было смысла ни в чём сомневаться или проверять. Организовано всё было по-военному чётко и абсолютно логично — корреспондент Всесоюзного радио приехал, запись состоится. Сперва Корольков сообщит о ходе конгресса, кто приехал, откуда, значение, размах и всякое такое, упомянет о докладе Нурматова и перейдёт к Кузьмину, представит его, после чего сам Кузьмин ответит на два вопроса. Текст Королькову Аля подготовила, Кузьмину же надо подчеркнуть сочетание чистой науки и инженерной практики, истории вопроса пока что лучше коснуться в самом общем виде...

Можно подумать, что исключительно её воля свела в узел все случайности, да и не было случайностей, это она заранее рассчитала, и потому свершилось неумолимое... Зелёные глаза её блестели, Корольков смотрел на неё с восхищением.

— Вот, брат, у кого учиться надо! А? Министр!

От неё исходил призыв к действию. Она заряжала электричеством, хотелось мчаться, одолевая, что-то совершать — трудное и немедленное. В её присутствии всё становилось достижимо — Всесоюзное радио, и завтрашнее выступление на пленарном заседании, и заморские страны, — вся та жизнь, которую Кузьмин утерял вместе с Алей, — эта жизнь распахнулась перед ним, он мог не хуже этого сочного, бодрого Королькова выступать перед всей страной, налаживать контакты, летать на международных авиалиниях... Знаменитые знакомые, звонкая слава и, разумеется, Аля, которая знала всё, что нужно делать, которая любила его и была обязательной частью этой его возможной жизни. А кроме того, тишина, большой стол и чистая бумага — вот что виделось в том варианте прежде всего, — покой одиночества, высокая спинка такого же кресла, такой же камин... Давно всё кончилось насчёт жажды беспокойной жизни. Чего ему не хватало в эти годы — размеренности, покоя, возможности сосредоточиться; ничего нет отвратительней постоянной, изматывающей суеты, тревог, авралов, того, что преподносят как романтику будней, а на самом деле безобразия, с которым он воюет.

Сидеть и думать — до чего ж это, наверное, приятно. Он смутно помнил то острое наслаждение, что охватило его в зале Публички, когда вдруг появился результат, ещё вывод не клеился, а результат уже чувствовался, гладкий, крепкий, безусловно красивый, единственной формы, как жёлудь...

Сидеть и думать, столько накопилось, например о Лёне Самойлове верный друг его, за которым он ходил до последнего дня, нянчил его, беспомощного паралитика, пострадавшего при аварии на той же Булаховской плотине. Похоронил Лёню и с кладбища — в машину и на линию, и некогда погоревать было. Вот уже год прошёл — до сих пор времени не найти поскорбеть о Лёне, осмыслить смерть его...

Сидеть и думать...

Он смотрел на Алю, на Королькова, стараясь через них увидеть себя в той сказочной райской жизни, от которой отделяло его совсем немного, он мог разглядеть все подробности.

Сидеть и думать, работать головой, чтобы всё там ворочалось и скрипело, совершать безумные допущения, формулировать по-новому, бесстрашно замахиваться и пытаться всё это, испытывать без снисхождения, без пощады.

...Кузьмин облизнул губы, шмыгнул носом. Толстые губы его выпятились, веки смежились, и лицо сразу поглупело. Почёсывая затылок, он забормотал, что выступать перед микрофоном не умеет, и вообще стоит ли упоминать о нём, рановато, ни к чему, в связи с тем и поскольку он не решил для себя в принципе...

— Не решил — что? — резко занеся голос, спросила Аля.

Он промямлил, что, может, лучше не стоит объявляться, засмеялся заискивающе, пытаясь как-то утешить Алю, хотя при этом один глаз его открылся с некоторым удивлением, а другой подмигнул неизвестно кому.

— Та-а-ак, — Аля повернулась к Королькову.

— Я наоборот, Алечка, я его уговаривал, — поспешно сказал Корольков.

— Что он вам наговорил, Павлик?

Кузьмин ответил не сразу.

— Он ни при чём, дело не в нём.

— Кокетничаешь ты, Паша, — сказал Корольков. — Гордишься. Не строй ты из себя блаженного. Никто не оценит. Наше поколение и так слишком деликатно. Думаешь, твой Нурматов зарыдает от твоей скромности? Да ему только на руку. Они скромничать не станут, они люди деловые, у них не залежится, всё пойдёт в дело, и твоя нерешительность и доверчивость, ми всё сгодится.

— Иди, иди, — сказала Аля. — Корреспондент там ждёт.

— Ничего, подождёт, я сейчас, Алечка, я только хочу показать этому гегемону, насколько он оторвался и недооценивает. Ты, Паша, пойми, наша научная деятельность будет приобретать всё большее значение. Больше, чем твои монтажные работы. Твои работяги — это ещё не механизированные остатки прошлого. Сейчас, брат мой, центр человеческой деятельности перемещается. Из цеха в институт. Активность людей переносится из сферы производства вещей в сферу производства идей...

Он увлёкся, в словах его, хотя и произносимых не впервые, прорвалась такая гордость за науку, которой он служил, что Кузьмин поразился, самого же Королькова воодушевило то, что он заставил Алю себя слушать

— Красивая картина, — сказал Кузьмин. — Ну прямо девятый вал. На нас идёт наука! Наука, наука, а нам что остаётся? Может, поспособствуешь, чтобы нам годовой план скостили? Поскольку центр перемещается и грязная наша, бесславная работа не имеет будущего... Эх, Вася, пока вы решаете задачки и выступаете, кому-то надо таскать, строгать...

— Тот, кто на другое не способен, пусть этим занимается.

— Ты, значит, способен? Ты? Ты богом отмеченный? — Кровь прилила у Кузьмина к голове, забила толчками в висках. — Уж ты бы молчал. А ты на тридцатиметровую опору залезть способен? Думаю, полные штаны наладёшь!

— Убил! Наповал!

— Кончайте, — отрубил Аля. — Вася, корреспонденту скажи, что с Кузьминым потом... Или нет... Словом, скажи что-нибудь! — прикрикнула она.

Лицо Али замкнулось. Погасли глаза. Осталась грубо размалёванная маска с комками помады на запёкшихся губах.

Молчали. И раскаяние медленно проникало в Кузьмина: старалась, хлопотала ради него, влетела сюда счастливая, а он вместо спасибо холодной водой в рыло, фанаберию свою распустил.

Стоило бы ей сейчас заплакать, не сдержаться, и он согласился бы, пошёл за Корольковым к

этому корреспонденту, сделал бы всё, что она просила.

...Бедняга, бедняга, как он постарел, опустился. Что за костюм, ботинки круглоносые, старомодные, и эта клетчатая перемятая рубашка. Видимо, привык и не замечает, что превратился в заурядного технаря, прораба... Бывший Кузьмин. Осталось кое-что в повадке, в манерах, по ним-то и можно признать. А какой был герой, как стартовал... К нему ходили со всего факультета с задачками. Не потому, что так уж быстро соображал, а скорее потому, что красиво у него всё получалось. Всё у него было красиво, на доске писал и то красиво. Куртка суконная с молниями сидела на нём лучше модных костюмов. Молнии сверкали на карманах, на груди. Это он первый ввёл тогда моду носить книги и конспекты, перевязанные ремешком. Корольков, стыдно признаться, и кепку надевал по-кузьмински, сдвинув верх назад. У Кузьмина имелись все данные, чтобы взмыть. Он должен был прославиться. Природа наделила его ростом и внешностью представительной, что, между прочем, играет отнюдь не последнюю роль. Пашка Кузьмин с его широкими плечами, зачёсом светлых волос был прямо-таки создан для выдвижения. При всех, как говорится, прочих равных, именно он, на взгляд любого начальника, соответствовал облику руководителя, он имел явные преимущества перед низенькими, толстыми, вислоносыми, перед тихонями и говорунами. И физиономия у него располагала. За таким прежде всяких других хотелось идти и слушаться, такой и для представительства хорош. В начале карьеры Корольков нахлебался по уши, когда какой-то кадровик усомнился, будут ли иностранцы таять при виде Королькова, ему, видите ли, надо, чтобы они ходили под себя от умиления... Даже и ныне Кузьмин, конечно, при соответствующем оформлении, тянул на крупного работника Совмина. Властность была и спокойствие, как будто он уверен, что ни одно его слово не пропадёт впустую. Господи, на какие сказочные орбиты он мог выйти!

Первые годы Корольков ревниво следил за ним, сам не зная, чего желает: падения или возвышения. Лазарев уверял, что Кузьмин карьерист. Увидел, что в науке быстро не получается, переметнулся в инженерию, надеясь, что через промышленность скорее можно пробиться. Такое объяснение устраивало Королькова, и держалось оно долго, следуя за прерывистым, но неуклонным восхождением Кузьмина, которое, впрочем, как теперь понимает Корольков, совершалось с некоторым торможением, явно медленнее, чем полагалось в те бедные кадрами послевоенные годы.

История с интервью, вернее, скандал с этим интервью опроверг лазаревскую схему. Самого Лазарева тогда уже не было в живых, но вряд ли и он смог бы объяснить произошедшее. Зачем, спрашивается, понадобилось Кузьмину, уже работнику министерства, откровенничать с каким-то писателем и заявлять, что Булаховскую гидростанцию строить невыгодно? И это в конце второго года строительства, которому он должен был содействовать. Корольков сразу определил, что скандала не миновать. С этой новостью Корольков и приехал после долгого перерыва к Але... Министерство это не институт, можно, конечно, отстаивать своё мнение, но весь вопрос — до каких пор, да и тактично ли через печать. Кроме строительства ГЭС Кузьмин ещё замахнулся на способ передачи энергии постоянным током, о котором тогда много говорили. При таком несогласии логичнее подать в отставку. На что он, Кузьмин, рассчитывал? Никто никогда не останавливал начатую стройку. Слишком много специалистов должны были бы признать свою ошибку. Факты, которые Кузьмин сообщил писателю, были неопровержимы, и тем хуже было для Кузьмина. Спрашивается, о чём он сам раньше думал? Где он был? Нет уж, взялся, так, будь добр, служи честно, тяни до конца и не ной, не жалуйся. Корольков тоже мог бы исхаять свою работу. В заграникомандировках не так уж много хорошего. Ему осточертел душный табачный запах отелей средней руки, с их больничным строем дверей, наглыми швейцарами; бессмысленные приёмы, которые устраивали такие же бессмысленные комитеты, где приходилось улыбаться безостановочно, широко, радушно, а ночью от этой улыбки болит лицо и дёргаются мышцы рта. А бесчисленные чашки кофе, после которых он мучился изжогой. А заседания, где надо мгновенно отбивать наскоки и выпады, и так трудно сразу найти, а потом в кровати приходит запоздалый ответ, и от этого

ворочаешься, и никакое снотворное не помогает. Давно уже он, приезжая за границу, не ходил по театрам, не искал достопримечательностей, ему надоели шоу, стриптизы, музеи. В свободное время он валялся в гостинице, читал детективы. Но он не плакался, ни перед кем не вытряхивал изнанку своей работы. Але и той не жаловался. Держался, чтобы все завидовали. И Кузьмин сегодня позавидовал это Корольков чуял безошибочно. Все завидовали, слушая его рассказы о ЮНЕСКО, а знакомствах, жизнь его выглядела яркой, как на цветных фото, которые он любил показывать: Корольков на конгрессе во Флоренции, Корольков в гостях у Бертрана Рассела, они сидят на террасе старого шотландского дома Расселов, Корольков гуляет по Версальскому парку вместе с известным французским математиком Адамаром. Академики и те с уважением разглядывали эти фото. А вот Кузьмину он не стал их показывать. Побоялся, что ли? От Кузьмина можно было чего угодно ожидать. Но чего бояться Кузьмина? Кто такой Кузьмин? Инженер, каких тьма. Ничего задуманного из его сказки не вышло. Провинциальный неудачник. Опасается нарушить рутину своей жизни, держится за местечко, благо не надо много думать, знай привинчивай и включай, — одни и те же хлопоты, одна и та же техника. С какой стороны бояться Кузьмина, — казалось бы, ни с какой, вдуматься, так он на сегодня ничего из себя не представляет. Человек, потерявший веру в себя, хотя и хорохорится, это Королькову было видно насквозь. Какого же чёрта!

Он знал, что ему мешает, он догадывался.

Как незримая преграда.

Со стороны не видно, что ему не даёт перешагнуть, только он сам понимал, откуда выползает проклятая неистребимая робость. Из тех студенческих лет, из того вечера, когда Кузьмин притиснул его к холодной стене в подъезде лазаревского дома... И то, что Кузьмин удивился успехам Королькова, уже не радовало. Скорее было оскорбительно! Шло ведь это от институтских лет, когда Королькова всерьёз не принимали. Его порой вовсе не замечали. На Карельском, в дюнах, он отстал, потерял ребят, и когда наконец разыскал их, они укладывали на траве горячую варёную картошку и Кузьмин спросил, не у него ли соль. Никто и не заметил отсутствия Королькова. Беда в том, что он не может этого забыть. Слишком много он помнит.

Ровно крутились бобины магнитофона. Внутри у Королькова тоже раскручивался записанный набор годных на сей случай фраз. Корреспондент следил за лентой, которая требовала больше внимания, чем текст. Обычные вопросы, обычные ответы, грамотно расставленные ударения, без запинок и монотонности, знает, что надо: читать, будто не читает, а говорит. Учёный нового типа: уважает чужое время и ценит своё.

Случай с Кузьминым мог, конечно, оживить его выступление. Украсить. Вызвать в некотором роде сенсацию. То, что Кузьмин волынит, жмётся, типичное кокетство. Взять и рассказать про Кузьмина — поставить его перед фактом, и никаких кренделей. Потом благодарить будет. В таких случаях чуть столкнуть камешек — и покатится, и загрохочет, и не остановишь.

«Павел Кузьмин, с которым, кстати, мы когда-то вместе учились в институте».

Можно добавить: «Мы рады, что удалось его отыскать».

Для журналистов это находка, они налетят, специальную передачу закатят. Корольков мог бы представить Кузьмина, прокомментировать. Преподнести происшествие с Кузьминым можно умно и поучительно: человек, в котором уживаются и абстрактная наука и производство монтажных работ, сделал открытие и ушёл в промышленность, и доволен! Поднять Кузьмина так, что станет он героем! Запросто.

Но почему, спрашивается, он, Корольков, должен делать из него героя, почему он должен возвеличивать его и сам за здорово живёшь украшать его перед Алей? Что хорошего сделал ему Кузьмин? Пришёл, явился на всё готовое, и пожалуйста — все встают, овация, степень на блюдечке! А другие геморрой себе наживали, сидя над кандидатской. И сразу же, не

разгибая спины, за докторскую. Молодость всю ухлопали...

Сегодня, конечно, Кузьмину можно присуждать без защиты, ему незачем выпрашивать отзывы, трепетать от замечаний оппонентов, заниматься бесконечными правками, мучительно проводить предзащитные недели, когда ждёшь в любую минуту — где-то найдут ошибку, и всё рухнет, завалится...

За что это Кузьмину такие привилегии, за какие такие доблести?! Если б не Аля...

У Али свой интерес, и она доведёт Кузьмина до дела.

Жаль, что из-за Али нельзя выдать полным текстом Кузьмину, ох и славно было бы перешагнуть всякие соображения и с маху выдать им обоим, не выбирая слов, и Кузьмину и Але. Пусть она слышит...

Он представил себе это живо, так что в горле запершило. Какая сладость хоть на минутку отбросить высшие соображения, всякую дальновидность, этот проклятый мундир положения, который никак не снять. И ведь дома, с Алей, и то он разучился быть самим собой... С Алей он всегда тоже на цыпочках, Аля человек железной воли, она могла бы командовать армией, могла подводной лодкой, могла быть послом, министром, вождем африканского племени.

Она любого заставит сделать всё, что ей надо. Как бы там Кузьмин не мудрил, ему не вырваться.

Корреспондент поиграл на клавишах переключателей. Магнитофон заговорил голосом Королькова — звучным, наполненным баритоном. Чувствовалось, что говорит без бумажки компетентный, серьёзный учёный. Разве можно было догадаться, что творилось с ним, когда он это говорил? В одном месте он запнулся, вместо «Лаптев» сказал «Лазарев», тут же поправился, но корреспондент сказал, что это легко вырезается. Прекрасное устройство, любые оговорки, ошибки вырезаются и удаляются, остаётся только нужное, разумное.

Вы ничего не хотите добавить? — Это голос корреспондента.

— По-моему, достаточно, — ответил тот же звучно уверенный баритон, принадлежащий человеку, которая и Аля могла бы признавать, как это делали все остальные.

Она сама его создала и не любила. Он знал это. Хотя она полагала, что он не знает. Она не догадывалась, что он знает. Это было его преимущество, но он никогда не мог использовать его...

V

— Ты счастлива?

У Монетного двора бродили часовые в мокрых блестящих плащах с острыми капюшонами. Площадь перед собором была пуста. Прожектора освещали золотой шпиль и на нём ангела, одиноко летящего сквозь туман.

Ты счастлива?.. Откуда пробился этот вопрос, из каких подземных источников, что продолжали струиться меж ними. Какое ему дело — счастлива она или нет. Что ему хотелось бы услышать?

Рука её в синей перчатке лежала на его согнутой руке... Когда-то с ним что-то похожее было.

Они ходили с Алей по Ленинграду, в котором ещё не было метро и телевизионной башни, и телевизоров, кажется, тоже не было...

Когда-то точно так же она прижималась бедром, у неё это получалось само собой. Не мудрено, что он лапал её не стесняясь, но и вела себя будь здоров... Глядя со стороны на её строгое лицо, и в голову не придёт, что она умеет так прижиматься и шептать.

Счастливо?.. Ещё бы, сам отвечал он, как всё хорошо у неё сложилось... Ему хотелось улестить её и Королькова: смотри, как взлетел, какой стал корифей, наверняка это её рук дело, искательно предполагал он, надо же уметь обнаружить в Королькове такой алмаз!

Наконец-то она усмехнулась. Ей понравилась его догадка. Мало кто знал, сколько ей пришлось помыкаться и какова её роль. Корольков не верил в себя, боялся и мечтать о диссертации («Ваша работа, Павлик, да и папа мой тоже добавил»), терпеливо и осторожно она внушала ему, что он способен, что может не хуже других. Не отступаясь ни на один день, она буквально заставляла его писать, действуя и лаской и угрозами, грозилась бросить его, зачем ей муж, который не имеет положения, не в состоянии пробиться. Наверное, легче было самой сделать диссертацию.

— Неужели и докторскую вытянула ты?

— И докторскую. Могу из него и член-корра сделать, если возьмусь, — с вызовом сказала она.

— Но докторская... Это же должен быть серьёзный вклад...

— Вклад был... — Голос её колыхнула чуть слышная улыбка. — Что вы, не знаете, Павлик, как это делается? Направили в докторантуру. Им для Учёного совета нужен был доктор. Полагалось. И ставка была. Я говорила: направляют — иди. С кандидатской его тоже подгоняли. У них свой план подготовки. Должен расти. Ассистент должен становиться научным сотрудником. Корольков не рвался. Единственное, чего я добивалась, чтобы он не противился. Делал, что требуют. Мой Корольков ещё лучше некоторых других.

— Представляю. Но при чём тут наука?

— Ах, Павлик, не равняйте на себя, у вас иное дело, у вас талант.

Он молчал.

— А на Королькова вы напрасно, он вырос на своём месте, если б вы знали, сколько он пробил для наших математиков изданий, командировок по обмену. Это можно лишь с его упорством. У него характер есть, этого от него не отнимешь. Помните, Павлик, как он у нашего дома дежурил?..

Наконец-то из глубин и поверхности сознания всплыла картина осенней набережной, продрогшая фигура Королькова с поднятым воротником. Всякий раз, возвращаясь к Лазаревым, Кузьмин видел маячившего поодаль Королькова. До поздней ночи горе-кавалер бродил под окнами. Над ним смеялись. Аля потешалась откровенно и зло. На Королькова ничего не действовало. Однажды, рассвирепев, Кузьмин прогнал его, тогда Дудка перешёл на другую сторону Фонтанки, стал там ходить, мотаясь взад-вперёд, вдоль чугунных перил. Он был трус, слабак, зануда, его постная физиономия изображала страдание необыкновенной личности, — всё это смешило Кузьмина, знавшего, что Дудка бездарен, скучен и не имеет никаких надежд на успех. Все преимущества были на стороне Кузьмина. Тем не менее Дудка испуганно продолжал свою безнадежную борьбу. Иногда, обессиленный, он повисал на перилах, тупо глядя в грязную воду. Лазарев боялся, что он утонет. Однажды Кузьмину это надоело. Почему-то вдруг обрыдло, и он уступил. Или отступил?

Постепенно провалы в памяти заполнялись клеточка за клеточкой, как в кроссворде.

— ...чего другого, а настойчивости ему хватает. Если им постоянно руководить. У американцев вышла книга «Роль жён в жизни учёных»...

— Что делает любовь, — сказал Кузьмин.

— Любви не было, — сказала Аля. — Был расчёт.

— Он же тебя любил?

— Он — да. А мне было не до любви. И глупо было ждать любимого. Кто я была? Разведёнка, учителька. Восемьдесят пять рэ в месяц, маленький ребёнок, жила в одной комнате с больной тёткой. Чего мне ждать? Мать-одиночка. Я уже без иллюзий была.

— А Корольков ходил под окнами.

— Примерно так. Во всяком случае, возник и не испугался. Счастлив был, когда я согласилась. Расчёт — он умнее любви. И честнее. Любовь с первым моим кончилась пьяными драками да судом. Квартиру потеряла. Нет, для прочного брака любовь не главное. Без неё даже лучше. Я для Королькова старалась, потому что отработывала, в благодарность. Отплатить хотела. Она подумала. — Да и должна я себя куда-то тратить.

— А он?

— А ты, а он, — передразнила Аля, — я пошла с вами, Павлик, не для исповеди. Что он, ему прекрасно, он считает, что это и есть любовь. Может, он и прав. Любовь разная бывает. Я столько ему отдала, столько возилась с ним, почти наново сделала, что и самой смотреть — сердце радуется... Так что иногда думаешь... Хотя...

Пауза возникла опасная, зыбкая, как трясина.

Часовые принимали их за любовную парочку: немолодые люди, у каждого семья, деться некуда, вот и кружат подальше от людей, в туманному безлюдье крепости.

А ведь могло и так случиться.

Вариант, который ещё возможен.

Отлитая, затвердевшая, казалось, навсегда, жизнь податливо размягчалась, позволяя всё смять и переделать.

Полосатые тюремные ворота, будки, каблуки по булыжнику...

Тень арки поглотила их и вырезала полукружием Неву, мглистое высвеченное снизу небо, комендантскую пристань. Волна била в гранит. Холодный ветер гулял по реке. Аля прижалась к Кузьмину. Ему захотелось спуститься к воде...

Прыгнуть на осклизлый камень...

Поднять Алю на руки...

— ...Как обидно, Павлик, что папа не дожил и не узнал.

Пружинка волос качнулась у её виска.

— ...такой триумф...

Или уехать сейчас с ней. Пойти на вокзал и уехать.

— ...почему вы не хотите? Что вам мешает?

— Ничего не мешает, — сказал он, — да этого мало.

— Что вас останавливает?

— Подумать надо, — примирительно сказал он.

— Чего думать? Завтра вечером заключительное заседание, поэтому сейчас надо решать. Нам надо ведь подготовиться. Боже, да за что вы цепляетесь? В крайнем случае назад всегда вернётесь. Такой-то хомут никуда не денется.

— Алечка, почему вы оба, с вашим учёным супругом, так свысока о моей работе...

Можете со мною, Павлик, без вашего примитивного мужского самолюбия. Вас никто не посмеет упрекнуть, вы не сбегаете, вы возвращаетесь к своему призванию.

— Слишком поздно.

— Там видно будет, сейчас следует использовать ситуацию, завтра на заседании вам надо сказать следующее...

Завтра ему предстоит встреча со следователем. Голубевская бригада кабельщиков по вечерам халтурила на соседнем заводе. Монтировали кабели. Откуда брали материал? Кузьмин объяснил следователю, что, хотя формально материал можно считать казённым, фактически же это бросовая арматура, захороненная в земле. У бригады своё хозяйство, учёт там вести невозможно. Следователь, человек бывалый, понял, что стоимость воронок, муфт, гильз копеечная, кое-что из дефицита стоило подороже, но и это следователя мало занимало. Его интересовало — знали ли мастер, начальник участка про эту халтуру. Кузьмин, выгораживая ребят, сказал, что он и сам знал. И начальство повыше знало. Не именно про этот завод, а что кабельщики и сетевики халтурят. Почему не запрещают эту халтуру? По многим причинам, прежде всего потому, что всякому предприятию позарез нужна подобная халтура, без неё не обойтись, специальной организации, которая бы вела такие работы, нет... Пока следователь писал, высунув кончик языка, он выглядел простаком, но когда он поднимал глаза, оплетённые тонкими морщинами, было ясно, что ему давно известно многое из того, что рассказывает Кузьмин. Когда Кузьмин предложил съездить на завод убедиться, следователь спросил, нужно ли это, Кузьмин настоял, не обратив внимания на интонацию. По новому цеху их водил заводской энергетик, также привлечённый по этому делу, испуганный, плохо выбритый человек с еле слышным голосом.

В цеху стояли серебристые камеры для каких-то испытаний, сушильные агрегаты, холодильные, сверкали эмаль, никель. Этот цех выглядел как лаборатория, красивая, чистая, тихая и неработающая. Торчали разведённые концы кабелей, обесточенных, невключённых. Появился директор завода. С ходу он набросился на следователя, грозя жаловаться в обком, в Совет министров. «Вы срываете выполнение госзаказа! — кричал он. — Вы ответите!» Ему надо было немедленно пустить этот цех. На любых условиях — отдавайте под суд бухгалтера, энергетика, но разрешите кабельщикам кончить работу. Следователь не соглашался, и директор стал сваливать незаконные действия на своего энергетика. Кузьмин не выдержал, вступился — ведь энергетик хотел выручить завод, он выполнял требования начальства. На это директор, считая, что Кузьмин хочет его «вмазать», заявил, что лично он понятия не имел о подобных махинациях, что он никогда ничего подобного бы не позволил.

Поведение директора обескуражило, — вместо того, чтобы замолвить слово за кабельщиков, директор топил их, а заодно и своих людей, так что от поездки никакой пользы не выходило.

Следователь не преминул поставить директора в пример Кузьмину — вот как надо блюсти государственные интересы, а не выгораживать халтурщиков. Однако при этом, как бы невзначай, он справился у директора, почему не обеспечили кабельщиков заводским материалом. Ах, на заводе нет, но почему не запросили министерство? Фондированные материалы? Пока выхлопочешь, год пройдёт? Значит, директор всё же знал? Значит, у энергетика выхода не было? Или был? Вопросы мелькали быстрые, простенькие, и задавал он их с непонятливо-простодушным видом, и вскоре неизвестно как выяснилось, что кабельщики и энергетик хоть и нарушали, но без них дело бы не продвинулось, а директор, тот как раз не способствовал, и сейчас в некотором смысле тормозит, поскольку если со стороны энергетика, как он указывает, есть злоупотребления, то надо заводить настоящее дело... На обратном пути следователь спросил: почему директор себя так ведёт? Кузьмин сперва назвал директора трусом, прохиндеем, делягой, но тут же усовестился: директор был заслуженный, прошёл огонь и медные трубы, — нет, дело в другом, на его месте, может, и Кузьмин вёл бы себя не лучше, потому что держать такой цех под замком никто не может себе позволить... А почему же Кузьмин защищает кабельщиков? Опять же не в силу благородства, разъяснил Кузьмин, а прежде всего потому, что кабельщиков не достать, дефицитная специальность. Вот и приходится цацкаться с ними. Да и выполняют-то они то, что, кроме них, никто не сделает, он действительно выручили завод... Он не стал добавлять, что, как бы их ни наказывать, ничего от этого измениться не может, сами предприятия толкают их на нарушения. Не первый раз его кабельщики попадались. Да бригадир Голубев и не таился. Похоже, привык к тому, что их отстоят. Они понимали ситуацию не хуже Кузьмина. Сам он вмешивался в крайнем случае. Было неприятно, что при этом тень подозрений ложилась и на него: «круговая порука», «честь мундира» и тому подобное. «Но кому от этого плохо, государство-то выигрывает?» А ему отвечали: «Государство не может выигрывать, если нарушается закон». К счастью, нынешний следователь избегал общих слов. «Всё же придётся привлечь бригадира», — как бы советуясь, сказал следователь. «Делайте что хотите». — «Что же вы, отступаетесь?» Он промолчал, но завтра Кузьмин скажет: «А меня это уже не интересует». — «Как так?» — «А вот так, я ухожу». — «Куда?» — «Далеко! Я улетаю от ваших дознаний, от взысканий, от наглеца Голубева, которого следовало бы проучить, от летучек, бесконечных бумажек, от хозактивов, от сметчиков, от новых распредустройств, приписок, отсыревшего кабеля, битых изоляторов, от печали вечерней своей опустелой конторы, — я улетаю, я удаляюсь».

— ...Завтра, — говорила Аля, — завтра...

Завтра он может стать недосыгаемым, уплыть в иной мир, к иным людям. Вздвываются паруса, руль поворачивается круче, ещё круче...

Камень внизу был мыльно-скользкий, прыгнешь — не удержишься. Прорези окон в крепостных стенах зияли столетней тьмой. Заключённые спали декабристы, народовольцы, петрашевцы... В Монетном дворе стучали прессы. Готовили ордена и медали. А напротив, через Неву, в саду Мраморного дворца стоял маленький ленинский броневик...

— А Лаптев? — сказал Кузьмин. — Прошу тебя, Лаптева не трогай, не надо.

— Пожалуйста. Я согласна. Я вас понимаю, Павлик. Посмотрим, если он вам поможет... — Она наклонилась к нему. — Но всё равно своё он получит, глаза её стыли, холодные и тёмные, как эта река.

— Тогда я не играю, — сказал Кузьмин. — Нет. Не нужны мне ваши утехы, не пойдёт, — повторил он с удовольствием.

Он загадал — удержится или не удержится, — но не прыгнул, а спустился с причала на камень, ноги его стали разъезжаться, пока не упёрлись в какие-то выступы.

— Зачем мне всё это, не нужно, не нуждаюсь! — крикнул он снизу, не то дурачась, не то всерьёз.

— Как это глупо, простите меня, Павлик, но другого слова я не нахожу... Пойдёмте, здесь ветер.

В темноте арки он взял её под руку.

— Зачем вы меня мучаете, Павлик?

Он засмеялся.

— Ей-богу, Алечка, неохота.

— Вы боитесь?

— Чего мне бояться?

— Вы, может, сами не понимаете. Вы боитесь отказаться от своего прошлого. Пришлось бы признать, что всё было ошибкой. Вся ваша жизнь, со всеми вашими достижениями, всё, всё... Нет, нет, я уверена, всё было достойно и дай бог всякому, но не то. Вам полагалось другое. Вам надо сказать себе, что вы жили не так, делали не то, занимались не тем, — это, конечно, грустно. Надо иметь мужество...

— Да почему не то? Откуда тебе знать! — воскликнул Кузьмин, теряя терпение. Голос его взлетел, гулко ударился в кирпичный свод арки.

— Знаю, лучше других знаю! — с нажимом сказал Аля. — У вас, Павлик, был талант. А вы его затоптали. Вы не поверили в себя, — ожесточённо твердила она. — Вам завидовали. Вы же счастливчик! Вам достался божий дар! Другие бы всё отдали... Если бы Корольков хоть половину имел. Господи, ведь это наивысший акт природы!... Вы поймите, Павлик, им всем это недоступно, они в глубине души понимают, что положение у них временное, и у Королькова временное, а талант — это вечное. Талант даёт удовлетворение, неизвестное им всем... Ну, хорошо, ошиблись по молодости, прошлого не изменишь, но зачем же оправдывать то, что произошло, только потому, что это прошлое ваше? Ах, Павлик, зрелость наступает, чтобы исправлять ошибки молодости. Судьба даёт эту возможность, судьба вознаградила вас, Павлик, и меня тоже, мы с вами наконец дождались...

Раздражала её выпренность и то, как она прижимала руки к груди. Кузьмин видел, что всё это было искренне, и от этого ему становилось ещё досаднее.

— Даёт, значит, судьба возможность исправиться, да? Образумиться? А он кобенится... А если я ни о чём не жалею? Тогда как? Не раскаиваюсь. И никогда не жалел, моя жалелка на других удивляется, — соврал Кузьмин, но его подмывало выразиться поглубже, да и назло. — Тебя вот жалею. А себя-то за что? Отдельные ошибки, конечно, были, но общая линия совершенно правильная. Я работал, а не языком чесал, как твой Корольков! Твоё, между прочим, произведение. На стройплощадке ему красная цена сто тридцать рэ. И будь добр, вкалывай. Ясно, зачем ему пачкаться!

— Корольков, между прочим, лаборантом простым работал, получал девяносто рублей. У нас на такой ставке молодые ребята после университета сидят по многу лет. И не жалуются. Уж учёных в корысти грех упрекать. Вы любому предложите двойную ставку и чтобы вместо научной работы пойти счетоводом, монтером, кем угодно — откажется. О нет, учёные — это особые существа! Самые бескорыстные!

— Сухою корочкою питаются? Как же! Только зачем ему идти монтером? Там давай норму, давай план. Там грязно, шумно, всякие нехорошие слова говорят. Номерок вешай. А у вас

чистенько, интеллигентная среда, милые разговоры. Платят меньше, зато под душ не надо. Всё, что ни сделаешь, всё работаешь на себя, на свою славу. А не хочешь работать — никто не заметит. Вдохновения нет, и всё, поди проверь.

— Фу, стыдно слушать от вас, Павлик, такую обывательщину. Не вам бы... Интеллигенцию легко бранить. Они, мол, белоручки, болтуны, они много о себе мнят, они хлюпики, неизвестно за что деньги получают. Наш директор института, он, например, себя считает крестьянином. Это его гордость, обижается, если его называют интеллигентом.

— Скажи своему директору, что крестьянином можно родиться, а интеллигентом нельзя, интеллигент это не происхождение и не положение, это стремление. Свойственное, между прочим, не только научным работникам. На производстве, к твоему сведению, тоже встречаются интеллигенты... Хотя вы считаете инженера чёрной костью... — Кузьмин поднял палец, хотел что-то подчеркнуть, да передумал, вздохнул. — А может, ты права, теперь не тот инженер пошёл. Мельчает наша среда, беднеет, сколько-нибудь яркое отсасывают всякие НИИ, КБ, кафедры.

— Только потому, что у нас кейф, безделье? Так вы утешаетесь? А может, они стремятся на передовую? — Кругом было темно, а в зрачках её горели бешеные огни. — Мы работаем побольше ваших шабашников! Наши головы ни выходных, ни отпуска не имеют. А что касается грязи, так я, к вашему сведению, каждые год весной и осенью в поле, я вот этими руками в колхозе столько картошки убираю, что всем вашим монёрам хватит. Да, да, кандидаты наук, доценты, лауреаты... пропалываем, и гнильё перебираем на овощных базах, и не ноем. У нас бездельников не больше, чем у ваших... Только у нас стащить нечего. Вот наш недостаток...

— Но это же глупо — хаять друг друга.

— Не я начала.

Они препирались, всё более ожесточаясь, и опять в последнюю минуту, когда Кузьмин понял бесцельность их схватки, но ещё не нашёл силы уступить, Аля опередила — мягко и виновато поскребла его руку.

— Вы помните, Павлик:

Чужое сердце — мир чужой,

И нет к нему пути!

В него и любящей душой

Не можем мы войти...

Он вслушивался в эти стихи, пытаясь продолжить их музыку... Знал ли он их когда-то? Читал ей наизусть или она ему читала?

— ...Вы, Павлик, могли себя чувствовать счастливым, пока не знали... Теперь же, когда есть уравнение Кузьмина... Оно будет существовать независимо от вас. В этом отличие науки. А кто устанавливал выключатели... не всё ли равно, никого это не интересует...

Положим, случись что, и весьма даже будут интересоваться. Поднимут документацию.

Она не понимает, что совсем это не всё равно, кто устанавливал, кто монтировал. Вот муфты акимовские, кабель акимовский... Этого Акимова он застал уже в самые последние месяцы перед смертью: маленький, с перекошенным от пареза страшноватым лицом, на котором успокаивающе светились голубенькие добрые глаза. Кабель, проложенный Акимовым,

муфты, смонтированные Акимовым, славились надёжностью. При аварии смотрят по документам, кто делал муфту; сколько лет, как Акимов умер, а до сих пор всем известно: если муфта его — можно ручаться, что авария не в муфте. Даже сделанное им в блокаду стоит и работает. Десять лет пройдёт, двадцать, и по-прежнему имя его будет жить в уважении. Вот тебе и загробная жизнь.

Но вообще-то...

В Горьком Кузьмина не хотели пускать в цех автоматов, который он монтировал. Никто тут не знал, не помнил, как монтажники там ползали под крышей, по чёртовым ходам-переходам, волоча кабель, двести сорок квадрат, а попробуй обведи его нужным радиусом между балками, покорячишься, пока управишься с этой жесткой виниловой изоляцией, только через плечо её угнёшь. Как у него кружилась голова от тридцатиметровой высоты, с детства у него был страх высоты... «Что вам надо?» — спросил по телефону начальник цеха. «Посмотреть? Чего смотреть?» Разве объяснишь. И не доказать было, что именно он монтировал цех, никаких справок не даётся... Потом, когда его наконец пропустили, он обнаружил, что цех уже не тот, аппаратуру заменили, поставили новые моторы, только крановое хозяйство осталось, на той же тридцатиметровой отметке.

Сколько было таких цехов... А в самом деле — сколько? Он даже приостановился. Штук двадцать наберётся, плюс ещё подстанции, распреустройства, пульта... Нет, нет, не так уж плохо это выглядит. Если ещё нынешний объект вытолкнуть, то считай, второй завод целиком...

— ...Что ж вы, Павлик, из-за того, что Корольков вам не так сказал, из-за этого вы закусили удила?

— Он сказал совершенно точно. Сказал то, что не принято говорить, но все думают: «Ни на что другое не способен».

— Обиделись?

— Нисколько. Я-то способен. Какая тут обида, ты не поняла...

Такое словами не передать. Это пережить надо, когда с нуля начинаешь. Всё твоё в пустом, чистом, пахнущем известью, краской зале. Ну, не совсем всё. Машины, железо устанавливают другие. Но сила, то есть энергия, свет, тепло, движение, — это твоё. Первооснова. Азбука. Потом можешь читать что угодно, но вначале кто-то должен выучить тебя азбуке. Об этом первом учителе забывают. У монтажника работа незаметная. Своего монтажники ничего не делают. Они готовое ставят на место. Исправляют чужие ошибки: проектировщиков, строителей, поставщиков. Позавчера хватились — щиты привезли покорёженные. Кому приводить в порядок? Монтажникам. Заказчик плохо хранил реле — монтажники очищают ржавчину, окислы, дряют, заменяют контакты. Работяги прекрасно знают, что они не обязаны. И в зароботке теряют, и не выведешь им. Чего проще — не годится реле — гони другое. Не дадите — стоим. Постоим, постоим — уйдём на другой объект. Но почему-то никогда этого права своего не удавалось осуществить! И работяги — эти шабашники, эти халтурщики, эти рвачи, молотки, эти хваты, которые умели качать права будь здоров, — помалкивали, чистили щиты от краски, исправляли реле... Понимали: они не сделают — всё остановится, все сроки, планы полетят...

— ...ежедневно я необходим. Без меня не обойтись. И ежедневно есть результат. Видно, сколько сделано. Не отвлечённые цифры, не научные отчёты, что гниют потом годами. Не проекты. И даже, скажу тебе, не то что на заводе: собираешь мотор, толком неизвестно, куда, для чего. А тут всё понятно. Любому. Мы последняя инстанция. Финиш для каждой катушечки. Кончили — и пуск. И всё заработало, закурилось...

Нужен он, это точно, ничего не скажешь. Ежечасно. Для всяких okazji. Редко для хорошего. С утра сегодня — агрегат в последнюю минуту перед пуском сменили, и подводка оказалась не на месте. Нарастивать надо, а как её нарастишь? Места нет, и шкафы силовые не вписываются. Куда их ставить? Подать сюда Кузьмина, пусть изобретает, пусть придумывает, он начальник, он голова...

— ...Но это по мне. По мне. А у вас... Столько лет обходились без меня, и обойдутся. Я не хочу зависеть от своего таланта. Нет у меня таланта... — повторил он, с интересом прислушиваясь к своим словам. Как будто нацелился и выстрелил, ударил снарядом в свой сказочный мраморный город, с тихими улицами, высокими библиотечными залами, с памятниками, мемориальными досками, золотом по белому мрамору... Взрыв, дым, поднимается белая пыль над руинами. Обломки. Развалины. Колонны Парфенона, камни дворца Диоклетиана в Сплите...

— Если бы ты видела, какую я капусту вырастил, ты бы не стала меня уговаривать.

— Какая капуста? — сухо сказала Аля. — При чём тут капуста?

— Так ответил Диоклетиан, экс-император, когда римские кесари уговаривали его вернуться к власти, — улыбаясь, он смотрел в тёмное небо. Слыхала про такую историю?

Ему хотелось уязвить её, пробить её высокомерие, её отвратительную уверенность.

— Почём ты знаешь, что мне надо? Кем я должен быть, по-твоему? Откуда тебе это известно? Ну да, тебе всё известно, ты знаешь, как лучше жить... Почему ты не слушаешь, что я тебе говорю?

— Потому что я не верю вам, не верю, — она, поддразнивая, засматривала ему в лицо. — Ни одному слову не верю, всё это притворство, все эти мысли, взятые напрокат. Римский император — это же пижонство, это не пример.

— Но почему ты не веришь? Странно... Какая мне корысть притворяться? У меня не будет второй жизни, чтобы говорить правду. И неизвестно, когда мы встретимся ещё...

При свете фонаря он увидел, как она съёжилась

— Это... зачем... Какой вы жестокий... Опять вы делаете ужасную ошибку...

Он был доволен, хотя не понимал, что её так прошибло.

— ...Может, у вас, Павлик, какая-то перспектива? Какие-то планы? На что вы надеетесь? — настаивала она, в отчаянии недоумевая, почему он не раскаивается, почему не приходит в ужас, узнав, что всю жизнь занимался не своим делом, что потерял её, ибо она была неотделима от его великих деяний.

«Не хочу», — отвечал он. «А я выше этого». «Всё это уже было». «Пойми, мне неинтересно». Все эти ответы ничего не разъясняли. Поведение его выглядело загадочно. Или нелепо. Хуже всего, что от Алиной настойчивости решимость его возрастала. Он ничего не мог поделать с собой. Голос его звучал убеждённо, как будто много лет Кузьмин готовился к этому часу, к этому отпору.

— Помните, Павлик, вы уверяли меня, что перевернёте горы? Где эти горы?

Наверняка он так говорил. Горы!.. Ах, чудак, — простые наконечники, которые он предложил десять лет назад, и те ещё осваивают. Сейчас он мечтает изготавливать контакторы, маленькие, подобно японским, лёгкие и надёжные, — вот какие у него остались горы, совсем не те голубые, сверкающие ледниками исполины, что виделись молодому Кузьмину на

горизонте его жизни.

Слова Али всё же причиняли боль. Не ту, какой она добивалась, но боль.

Аля судила его, каким знала его тогда. То есть не его, а того мальчишку, за то, что он не совпадает, не поступает так, как должен был бы поступать...

Они вышли к стоянке такси. Машин не было, и людей не было, и не было где укрыться от ветра и мороси.

Он заслонял Алю, она стояла неподатливо прямо. Кузьмин обнял её за плечи, мягко прижал к себе, и она вдруг охватила его за шею, зацеловала его часто, быстро обегая тёплыми губами его лицо.

— Павлик, если б вы знали, Павлик, кем вы были для меня все эти годы. Вы всегда присутствовали. Папа перед смертью тоже просил, чтобы я помогла вам. Я знаю, я недостойна, но я втайне верила, честное слово, я так ждала, что этот день придёт...

Слова её ударялись в его щеку, уходили вглубь сотрясением, болью. Было чувство полной власти над этой женщиной — как будто на миг она лишилась судьбы и очутилась на границе между привычным и неизвестным. Она жаждала самопожертвования, достаточно было одного движения, одного слова.

— ...Мне от вас ничего не нужно, Павлик, не бойтесь, я не покушаюсь... Стыдно, что я так надеялась...

— На что?

— ...И ничего не могу найти из того, что оставила.

— Но это же смешно, Аля, я не могу отвечать на твои детские фантазии.

— Вот именно — фантазии. Как просто вы разделались, Павлик.

— Посмотри: я другой, совсем другой человек. Того уже нет, как ты не можешь этого понять. И Корольков другой, и Лаптев, мы все стали другие, не хуже, не лучше, а другие. Это получается незаметно...

«Пришла моя пора, прошла моя пора, — подумал он, — меняется всего одна буква...»

— Почему же, я поняла. Вы, Павлик, всегда были другой. Не тот, за кого вас принимали. Вы оказались куда меньше своего таланта, — при этом она не отстранилась, она продолжала всё тем же ласково-льнущим голосом, только плечи её закаменели. — Не тому было отпущено. Ошиблись. И я ошиблась, я любила... ах, Павлик, если б вы знали, кого я любила все эти годы. Какой он был, ваш тёзка... Талант у вас, Павлик, не стал призванием, вы нисколько не пожертвовали ради него. Вы доказали, что талант — это излишество, ненужный отросток. Избавились и счастливы. Всё было правильно. За одним только исключением, Павлик: будущее-то ваше — оно позади. У вас впереди не остаётся ничего. Но это мелочь. Вы прекрасно обойдётесь своей капустой. Вместо будущего у вас перспективный план по капусте. — Она отстранилась и посмотрела на него, обнажив в улыбке белые чистые свои зубы. — Не надо делать такое лицо, ничего, переключите свою злость на производственные показатели...

Никакой злости он не чувствовал. Сырая одежда тяжело навалилась на плечи, тянула его к земле. Он закрыл глаза, асфальт мягко качнулся под ногами. Площадь могла опрокинуться на него вместе с фонарями, газонами и гранитным парапетом. Он крепко взял Алю под руку.

— Со мною надо постепенно... — сказал он, но слова были горькие, связывали рот, и Кузьмин замолчал.

Такси не было. Время тянулось без звуков, движения, тусклая пелена тумана поглощала всё. Где-то неслышно, как стрелки часов, ползли тени машин, взбираясь на мост.

Какими извилистыми путями жизнь вывела его к этому вечеру. Он стоял на развилке судьбы. Аля, Лазарев, Корольков... Замкнулось в кольцо то, что он считал незначущим эпизодом своей юности, навсегда смытым, стёртым... Ан нет, давние, казалось бы, случайные слова, встречи — все они жили, дожидаясь своего часа, разрослись...

— Что, по-твоему, выше, — вдруг спросил он, — жизнь или судьба?

Она равнодушно пожала плечами.

— Жизнь выше, — сам себе ответил Кузьмин.

— Вы что же, Павлик, окончательно простили Лаптева? — спросила Аля.

— Я его даже поблагодарил. Думаю, что так будет лучше.

— Кому лучше?

— Всем, нам всем, и тебе тоже, — предостерегающе сказал он. — Твой отец, несмотря ни на что, чтит Лаптева, он сам говорил мне.

Ничего подобного Лазарев не говорил. Но какое это имело значение? Не стоило Але копаться в прошлом, во всяком случае ни к чему ей сталкиваться с Лаптевым. Ради отца и ради Лаптева. Потому что Лаптев в этом вопросе фанатик, он может зайти и не пощадить её чувств к отцу, и оба они затерзают друг друга. Ложь, правда — когда-то это было так ясно: ложь дурно, правда — хорошо, всякая правда хороша, правда не может повредить, ложь не может быть оправдана. С годами судить людей стало труднее. Всё перепуталось. А судить надо было. Он понимал одно — с демонами прошлого надо обращаться крайне осторожно.

Зайдя в номер, Аля скинула намокшие туфли, привела себя в порядок, надела лодочки, припудрилась и, как было условлено, спустилась в бар, где сидел Корольков с французскими гостями.

Привычные эти действия, привычная обстановка несколько успокоили её. Французы шумно обрадовались ей, принесли коктейль, она выпила и даже закурила. За столиком обсуждали математиков Бурбаки, потом сравнивали красоту законов Эйлера и Гаусса, смеялись над шуточками Несвицкого. Он, щеголяя своим прононсом, расчёсывал бородку, наслаждаясь всей этой французскостью.

Улучив минуту, Корольков вопросительно посмотрел на Алю, она ответила коротка, так, что он один понял. «Чудак», — определил он, повеселев, и стал показывать французам свои фотографии.

Если бы она могла вот так же легко и пренебрежительно поставить точку. Сырость и холод медленно покидали её тело.

Какая-то женщина издали смотрела на неё взглядом, полным зависти. Аля увидела себя её глазами: со вкусом одетая, окружённая интересными иностранцами, весельем... В молодости она сама завидовала таким женщинам, одетым в чернобурки, с генералами под руку.

Коктейль был густой, крепкий. Аля пила мелкими глотками и ждала, пока внутри отойдёт. Общее внимание, милые эти приветливые люди должны были возбудить хорошее

настроение. Отлаженный механизм такого настроения обычно заводился легко, однако сегодня что-то не срабатывало. Время шло, а она никак не могла включиться в разговор и видела этих людей отстранённо, как на сцене.

Её сосед француз улыбнулся ей и под столом положил ей руку на колено. Она не удивилась, она смотрела на него и старалась понять, где же она ошиблась в разговоре с Кузьминым, на каком повороте. Поначалу реагировал Кузьмин вполне нормально, строил разные планы и радовался...

Француз считался одним из светил, за ним всячески ухаживали, но Королькову единственному удалось наладить с ним отношения. Корольков умел становиться нужным. Француз был развязен и бесцеремонен и наверняка полагал, что ей лестно такое внимание...

Неужто Кузьмин думал, что она хочет вернуться к тому, что было? Пожалуй, думал. И струхнул. Бедняга, он не понимал, что всё давно кончилось. Женщина не может любить второй раз того, с кем рассталась. А может быть, она причинила ему боль? Может, ему что-то показалось? Она любила в нём первую свою любовь, не больше.

Корольков слушал французa, по-детски округлив глаза, замерев. Что-то но напоминал Але, его немигающий с металлическим холодком взгляд, сморщенная наготове к улыбке переносица. Не сама ли её, Алю? А что, если она стала похожа на него, как становятся схожи с годами супруги? Подозрительно она вглядывалась в его лицо. Ужасно, если со временем она тоже станет вот так мелко кивать, искательно заглядывать в лицо собеседнику. И губы её обвиснут. Корольков внезапно стал ей противен. «Что же это такое, за что я должна стать похожей на него?» Неотвратимость этого приводила её в бешенство.

Неизвестно почему, мысль её перекинулась на Надю, то есть можно объяснить почему, но Аля ни за что не стала бы объяснять, она думала о том, правильно ли она сделала, ничего не спросив про Надю, хотя Кузьмин ждал её расспросов. Что-то её удержало. Что же это было? Вроде следовало бы намекнуть, каким героем он предстанет перед своими домочадцами. Мужчина прежде всего рад возвыситься в глазах жены. Однако и сам Кузьмин не подумал о семейном честолюбии. И Аля не стала... Не потому ли, что Надя тогда первая уговаривала его выкинуть из головы «лазаревщину». Это она настояла уехать на Север, изображала из себя спасительницу, вылечила, мол, его от губительной страсти. Недаром он скрывал от неё, что останавливался у Лазаревых. С некоторым злорадством Аля вообразила, как Надя примет новость. Оказывается, она не спасла, а загубила талант своего мужа, увела от подлинного назначения. Из-за неё он потерял себя. Вся жизнь его пустила под откос. От такой вины можно руки на себя наложить.

Что же, Кузьмина остановила вот эта боязнь огорчить жену?

Какая заботливость... Аля даже усмехнулась, вспомнила Надю, которая была старше её на четыре года, низкорослую, с большим круглым плоским лицом, ноги грубоватые...

Неприятный её взгляд смутил французa. Он убрал руку и сказал авторитетно:

— Одним людям, кроме таланта, нужен ещё и покой, другим — успех у женщин, каждому чего-то не хватает.

Разговоры о таланте были привычны. Она росла в доме, где постоянно обсуждали чьи-то способности, где жгучая зависть к таланту не давала покоя отцу, швыряла его от ненависти к истерическим восторгам, талант считался решающей меркой каждого человека, открытие было оправданием любой жизни. Отец скорбел о том, что дьяволов и чертей истребили и некому запродать свою душу в обмен на талант, он и вправду готов был бы на такую сделку, ни минуты бы не сомневался. Он с силой дёргал короткие свои седые лохмы, и Аля пугалась, понимая, что никого, даже её, отец не пощадил бы, чтобы достигнуть какого-нибудь открытия;

ей вспомнилось (наверное, из-за слов Кузьмина), как отец неохотно, прямо-таки корчась, признавал, что Лаптев настоящий, не маргариновый профессор, при этом нос его бледнел и пальцы скрючивались.

Тайный счёт, кто сколько стоит, вёл даже Корольков, который обожал звания, должности, списки трудов, но при этом оказывал предпочтение, где только мог, «настоящим», опекал молодых гениев, того же Нурматова, какого-то Зубаткина.

Если бы Кузьмин отказался от должности, скажем от кафедры, от профессорства, это ещё можно объяснить. Но то, что он в сущности отверг талант, то есть призвание его таланта, это оскорбляло её. При чём тут Надя, разве смогла бы Надя перевесить свалившийся на Кузьмина ни за что ни про что неслыханный подарок? Нет, тут таилось что-то другое, была у него какая-то тайна, какой-то иной, скрытый от неё смысл руководил им.

А может, Корольков прав: глуп Кузьмин, и ничего больше.

И в голову не могло ей прийти, что усилия её кончатся провалом. Как ни верти, дело-то было верное, как дважды два. Ничего другого, кроме похвалы да спасибо, не ждала, и дальше всё железно сцеплялось — Лаптев будет посрамлён, отец оправдан, а там пойдёт, покатится, по колеям, своим ходом.

Слава богу, на доводы она не скупилась, со всех сторон заходила, Кузьмин же, как на невидимом поводке, шёл, шёл — и вдруг на дыбы и ни с места. Упёрся в дурацком своём решении, хоть тресни. Ничем не взять. А ведь она умела своего добиваться, с мужиками особенно. Мужика на чём-то обязательно можно если не купить, так уломать, упросить. Сильные мужчины это легенда, по крайней мере, ей не попадались такие, сильные мужчины девичий миф, сладкая мечта. Может, когда-то они существовали, но лично она убедилась, что мужчины охотнее подчиняются, чем верховодят, что, несмотря на их грозный вид и громкие слова, они слабы душою, они обидчивы, они упрямятся по мелочам, ими так легко управлять, они нуждаются в беспрестанной поддержке, в самоутверждении, в похвалах. И вовсе они не умны, и мужественность свою любят доказывать выпивкой, ругательствами, или же гоняют на машине, как когда-то гоняли на лошадах...

У Кузьмина она натолкнулась на силу, с которой никак было не справиться. Не обойти, не перехитрить, все её подступы не помогали, и она почувствовала себя слабой, беспомощной.

В гостинице, когда они распрощались и Кузьмин спускался по лестнице, она следила за ним сверху. Голова его поднялась, плечи раздвинулись, словно тяжесть какую сбросил, словно поднимался, взмывал, большой, свободный. Уходил на волю. Словно бы победитель.

Уязвило это её чрезвычайно, но сейчас, стыдно признаться, смотрела она на этих французов с вызовом — никто из них не сумел бы так играючи перешагнуть, отринуть... И ведь не опомнится, не прибежит назад...

Французы ухватились бы руками и зубами, поведение Кузьмина сочли бы вздором, нелепицей. Они презирали нелепые поступки. Да и Корольков, и она сама не умели совершать ничего нелепого, они всегда спрашивали себя: зачем? для чего? что это даёт? И Кузьмина она сейчас судит по принципу «зачем?».

Они все были разумные люди, знали, чего хотели, с ними было ясно и легко. Например, сейчас они жаловались, что учёных у них ценят по количеству печатных работ, чем больше, тем, значит, учёнее. Аля им сочувствовала, потому что и у нас творилось подобное. И её все поняли, когда она сказала, что наряду с наукой растёт её тень — «научность». Получилось уместно и ловко, и все засмеялись, а Корольков с гордостью, и у Али в груди потеплело. Она была среди своих, милых её сердцу людей. Мыслящих, преданных науке. Надо было знать их братство, чтобы любить их. Постороннему они казались чужаками, вздорными, тщеславными,

а ведь всё начиналось с них, они отдавали науке самое дорогое — мозг, математика требовала все силы их ума, души, и навсегда. Зато существование их в каждую частицу времени было насыщено... Когда-нибудь Кузьмин поймёт, чего он лишился. И не то что когда-нибудь, а отныне он постоянно будет сравнивать... Нехорошо он поступил. Какие бы высокие мотивы он ни приводил, фактически он предал своего учителя. Никуда от этого ему не деться. Отрёкся. Неблагодарный, бездушный, ограниченный человек. Бездуховный — вот верное слово, — бездуховный. Из-за этого он такой чужой...

Она залпом допила коктейль, показала глазами Королькову, что он может оставаться, сколько ему надо.

В двухкомнатном люксе её обступила ковровая тишина и тот прочный уют, какой исходит от старинной тяжёлой мебели. С бронзовыми накладками, с мраморными досками. Горел не торшер, а массивная медная лампа под зелёным абажуром. Лампа была из детства, и шёлковые шторы с бахромой тоже оттуда. Аля разделась, накинула халатик, прошла босиком по толстому ковру. Из окна была видна мокрая улица, заставленная машинами, напротив — книжный магазин с высокой железной лестницей, раньше тут был продуктовый, и она с Кузьминым за высокими круглыми столиками пили кофе. Кузьмин угощал её гранёный стакан кофе и булочка с изюмом. Рядом с магазином — кассы Филармонии, дальше, в тумане, темнел памятник Пушкину, окружённый голыми деревьями сквера.

Мне всё здесь

На память

Приходит бывшее.

Ей захотелось прочесть себе стихи Пушкина, печальные и тягучие, с мерцающим смыслом, от которого всегда сжимается сердце. На память не приходило ничего, кроме отрывков оперных арий. Она не поверила себе, она ведь хорошо знала Пушкина.

Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь

И без надежд и без желаний...

А дальше забыла, пусто, какие-то обрывки без конца и начала. Всё куда-то провалилось. Как же это так, испугалась она, почему?.. Отец лежал обложенный подушками, а она вечерами читала ему стихи, он повторял отдельные строки, и оба они вздыхали, открывая вдруг секрет иного значения этих простых слов.

Щёки, шею её защекотало, она почувствовала, как жжёт глаза, и, поняв, что это слёзы, заплакала сильнее. Она плакала горько и радостно всхлипывая. Перед ней с обидным откровением открылась простая старенькая истина: времени не воротишь. И прошлого не повторить. Вроде бы всё повторилось — и эта улица, и Кузьмин, и она, Аля, а прошлого нет, никак его не составить. Печальные стога зябнут на скошенных полях. Стога сухого сена, что было недавно цветущим лугом.

Нельзя ни на один миг вернуть те вечера с отцом, сесть в ту качалку, нельзя было снова очутиться в той осени с Павликом Кузьминым, нельзя никаким образом передать отцу, что мечта его сбылась, хотя и не совсем, но что он был прав, прав...

Почему нельзя ничего вернуть, если она, Аля, та же? Почему так несправедливо устроено, так бессовестно? Зачем же всё это было? Зачем сохранились чувства? — вытирая глаза, спрашивала она. — Есть ли какой-то смысл в том, что было и что сейчас ожило и снова исчезло?.. Для чего оно появлялось?

Ей вдруг подумалось, как неправильно она живёт, что хорошо было бы:

...чтобы он возвращался грузный, усталый, долго мылся в ванной, садился за стол и много ел.

...чтобы от него пахло железом, горелой изоляцией.

...чтобы он брал ребят с собою, показывал им свои подстанции, всякие машины, и в комнатах валялись бы провода, магнитики, катушки.

...чтобы все в доме беспокоились за план, аварии, премиальные.

...работать в школе учительницей.

...ехать за ним в Заполярье. Возиться с этими фундаментами на вечной мерзлоте.

Она готова была бросить всё, и знала, что способна на это.

И знала, что приятно так воображать, потому что на самом деле всё останется как было.

И Кузьмин тоже ничего своего привычного не в состоянии бросить. Они одинаково приговорены.

Разница в том, что, очевидно, он имеет нечто большее. Для него существовали какие-то соображения, которые были ему дороже, чем успех, дороже даже, чем талант. Какой-то был у него тайник, преимущество, секрет...

Постукивая кончиками пальцев, она наносила под глаза ночной крем. И вокруг рта. Новый французский крем. Душистый, пахнущий мятой. В полутьме зеркала лицо её выпукло заблестело, спокойное, словно отлитое из металла. Она сама не могла бы ничего прочесть по своему лицу. В зеркале отражалась полнеющая женщина с ещё красивой грудью, с длинными крепкими ногами, складки на загорелом животе не портили её фигуры, и талия у неё сохранилась. Она придирчиво разглядывала себя, проверяя, как она выглядела перед Кузьминым. Она должна была ему понравиться. Заплаканные глаза тоже шли ей, жаль, что Кузьмин не видел её такой. Может, она была слишком уверенной в себе, весьма довольная собой супруга Королькова, занятая украшением своей биографии. Самолюбие его и разыграло, не хотел предстать неудачником, вот в чём фокус, именно перед ней, перед женщиной, которую он упустил, а теперь увидел во всей красе. Теперь приходится изображать, напускать спесь, — мужчины думают, что они сохраняют этим мужское достоинство.

Не упустил, а уступил, и теперь досадно, с досады и упёрся.

Утешительная её версия была сомнительна, зато приятна.

Аля легла, вытянулась между свежими простынями. Та женщина в зеркале ещё стояла перед её глазами, запомнилась, словно встречная незнакомка. Значит, все видят её именно такой, но ведь это была совсем не та, что существовала внутри, перед умственным её взором, слабая, одинокая, чего-то ждущая...

Смутные надежды, связанные с Кузьминым, долгое ожидание этого дня все чувства, которые составляли не известную никому часть её жизни, только ей принадлежащей, — кончились. Она должна была стать такой, как та, встречная незнакомка в зеркале. Вернуться. О, она отчётливо сознавала все выгоды жизни тай незнакомки.

Комфорт этого номера, гостиничный быт, когда завтра не надо ничего готовить, прибираться. Имелось множество утешений. Утром она позвонит своему двоюродному брату,

следователю, пусть посоветует, как действовать насчёт отца, чтобы восстановить его имя, авторитет. Намёки Кузьмина — пустое, Лаптев что-нибудь натрубил, все они не любили отца. Недаром он оказался прозорливей всех. За это и травили его. Провидцев боятся. Они чувствовали его дар, завидовали...

Добиваться справедливости придётся самой. Рассчитывать на Кузьмина не приходилось. Одинокая это будет и долгая борьба за правду об отце. Ну что ж, не привыкать, она боец, она сильная, как нахваливал её Корольков.

Если бы кто знал, как надоело ей быть сильной, добиваться своего, побеждать. Не хочет она побеждать, чего-то достигать, рассчитывать, предвидеть. Опять жить будущим. Она жила либо прошлым, либо будущим. А существовало ещё и настоящее. Не короткий миг, а долгое «сейчас», с которым она плыла сквозь этот родной ленинградский туман, в котором были эти жгучие, ещё не утихшие слёзы.

Завтра, в деловом, говорливом телефонном дне, всё это исчезнет. Она сама не поверит, что плакала. Это уже исчезает, не удержать этой тоски, этих сомнений в правоте своей жизни. Было жаль, что она не может побыть ещё вот такой же слабой, плачущей, чтобы не находить утешения, печалиться, почувствовать себя несчастной. Приоткроется ли ещё когда-нибудь перед ней грусть накошенных стогов времени?

Слишком поздно, подумала она, слишком поздно, чтобы быть несчастной.

Медные светильники пылали, как факелы. Лестница спускалась полого, торжественно. Где-то с площадки Аля смотрела вслед. Кузьмин ещё мог вернуться. Ковровая дорожка, зажатая бронзовыми прутьями, падала со ступеньки на ступеньку, каждая ступень была как обрыв, как удар топора. Рубились якорные канаты, скрепы, тросы...

Император Диоклетиан покидал свой престол. Внизу застыли воины, склонив железные копья, у подножия стояли центурионы с белыми лентами, в начищенных панцирях. Его гвардия, где он начинал простым солдатом, прощалась с императором. Диоклетиан отрекался от власти над огромной империей, которую он создал и которую оставлял в зените её могущества. Пурпурная мантия ещё висела на его могучем плече, и диадема — символ властителя империи — сияла на лбу. Он покидал дворец. Он распрощался с преторами, жрецами, авгурами, генералами, префектами, со своими ставленниками Максимилианом, Констанцием и третьим... как его звали? Ах да, Галерий, с гладким и нежным лицом, похожий на Алю. Кесарь Галерий был огорчён его решением больше других, а ведь Галерию он учинил немало позора, когда заставил его бежать целую милю за своей колесницей. И вот теперь Галерий стоял, кусая губы, не понимая, что случилось, почему император отрекается. Никто не понимал. Болезнь его прошла. Император выздоровел, он был богат, римляне восторженно приветствовали его на улицах, и тем не менее он удалялся. Он уплывал куда-то в жалкую провинцию на берег Адриатического моря. Что намерен искать он там, вдали от великого Рима? Для этих сенаторов, трибунов, властолюбцев, политиков, заговорщиков, — для них ничего не значили изъяснения старого философа: не ищи себя нигде, кроме как в себе самом.

Всякие слабаки, нищие, умники и неудачные полководцы придумали это себе в утешение, вместо того чтобы искать славы и власти.

Реальны только власть, деньги и слава. Но власть важнее денег и славы. Диоклетиан отказывался от наивысшей власти. Он так ничего и не разъяснил.

Диоклетиан уходил, он удалялся, не добиваясь, чтобы его поняли.

Ночью, среди подсвеченных развалин императорского дворца в Сплите, Кузьмин рассказывал Наде про добровольное отречение Диоклетиана. Кузьмин забрался по каменной

кладке на тёплые ноздреватые выступы аркад и громовым голосом бросал вызов богам. Лестница людской славы для императора кончилась. Он достиг высшей ступени. Дальше было небо. Он швырнул свою диадему в сонм богов.

«Получайте. Я достиг, по-вашему, всего, но есть больше, чем власть императора, — это презрение к власти!»

Внизу, на площади, сидели парочки за столиками кафе, бренчала гитара, на рейде мигали огнями корабли польской эскадры, вспыхивал маяк.

Кесари прибыли во дворец уговаривать Диоклетиана вернуться в Рим. А он в ответ повёл их в огород показать капусту, которую он выращивал! Кесари молчали. Презрение Диоклетиана оскорбляло их своей беспричинностью...

Надя смеялась, они вернулись на пароход поздно ночью и долго ещё стояли на палубе.

Ему нравилась история Рима накануне падения, история России Ивана Грозного, периоды решающие и загадочные. История привлекала его неточностью. Там был простор домыслу.

Они карабкались по скалам, у Нади ноги ещё были здоровые. Адриатика доводила её до слёз своей синевой, теплыню, прозрачными, дрожащими в густом воздухе берегами...

Лифт, как назло, не работал. Опираясь на железные перила, Кузьмин устало поднимался вместе с императором на пятый этаж. Лестница сборного железобетона гудела под ногами. Пахло из люков мусоропровода, да ещё из вёдер для пищевых отходов. Какого чёрта ты покинул свою империю, Диоклетиан, что тебя ждёт?

Ведь не хотел же ты начать сызнова. Восхождение не терпит срывов. Нет, тут что-то другое. Диоклетиан променял свою власть на... На что? Что он получил взамен? В истории цезарей, королей, тиранов редчайший, беспримерный поступок. И никаких объяснений.

В передней они скинули обувь и почувствовали, как отсырели ноги. Тапочек, конечно, на месте не было. Так и живём, дружище император. Ребята спали, Надя, наверное, тоже уснула, и никому не было до них дела. Никто не станет славить твоего отречения, Диоклетиан, бывший властелин, исключённый отныне из истории Древнего Рима... А может, наоборот, может, он выделился из всех императоров, цезарей и прочих владельцев власти и навечно озадачил всех... Но что, если ничего он не хотел — ни озадачивать, ни получать взамен?..

Они развесили набрякшую влагой одежду, пустили горячую воду, заплескались в ванной, смывая с себя промозглость и чад ушедшего дня. Кузьмин докрасна растёрся полотенцем, мысли его вернулись к следователю: надо бы рассказать ему про дальневосточную историю, когда этот прощелыга Голубев вкалывал со своими ребятами без роздыха, без жилья, в мороз, на голых сопках неделю, больше, полторы. Если бы он сумел изобразить следователю скрюченные, исковерканные металлические опоры, одну за другой по распадкам и вершинам сопки, — страшная картина, которую они увидели впервые в жизни. Ночью оборвалась линия передачи, одна, затем вторая. Города и посёлки побережья остались без энергии. Под утро с вертолёта Кузьмин увидел масштаб аварии. Гололёд рвал тросы, сминал могучие стальные конструкции опор, сворачивал, скручивал их, словно проволочные игрушки. Кое-где высились уцелевшие мачты — обросшие льдом белые башни. Ничего подобного Кузьмин не представлял. А кругом тянулись мрачные чёрные сопки, поросшие бамбуком и стлаником. Гусеничные трактора, между прочим, и те не могли из-за этого бамбука взбираться на сопки, скользили вниз. В городах прекратилось отопление, лопались трубы, остались без света больницы, погасли печи хлебопекарен. Бедствие разрасталось. Партийные организации мобилизовали все средства, бросили в помощь моряков, учащихся, всё передавалось в распоряжение энергетиков. Как они работали!.. Как этот самый Голубев таскал на себе

изоляторы, взбирался на четвереньках на сопку, волоча тяжёлые фарфоровые тарелки... Ребята Кузьмина были там приезжие, командированные на монтаж линий к рыбозаводу. Они не знали ни этих посёлков, ни городов, сидевших без света, никто не знал и их в этом краю. Когда аврал кончился, выяснилось, что некому оплачивать им за эти авральные дни, за неслыханную работу... И ведь никто не шумел по этому поводу. А Голубев сказал: вот это и есть, ребята, потрудиться на благо родины в чистом виде! Вроде бы не всерьёз сказал, но, когда Кузьмин выхлопотал им деньги, показалось, что они чуть разочарованы тем, что ту работу перевели на сверхурочные, аккордные, словом на обычные рублики. Сейчас звенья тех дней слились, и остались, и, видно, уж до конца останутся только заключительные минуты, когда по рации Кузьмин сообщил дежурному инженеру, что провода закреплены, и дежурный инженер сказал, что сейчас подадут напряжение. Под брезентовыми робами они стояли на голой, продуваемой, истоптанной до грязи сопке и смотрели вверх, на провода, как будто там можно было что-то увидеть кроме низкого тяжкого неба, где быстро меркнул последний свет и просвистывал ветер. Глаза слезились, словно песок был под веками... Ноги вросли в землю. Чего ждали все эти сонные, усталые, продрогшие линейщики, почему не спускались по гусеничному следу вниз, к машинам, чтобы завалиться спать на дно кузова?

...Это было как толчок, они услышали его, хотя ничего не произошло, они сперва почувствовали включённое напряжение, а потом уловили лёгкое гудение, но это зазвучало для них так, словно запели трубы над этими безлюдными, мёрзлыми сопками. Праздничный оркестр шагал по дикому этому небу, гремели барабаны, играли фаготы, тромбоны, шёл ток. Так идёт, ток идёт! Где-то далеко, на побережье, в домах щёлкали выключатели, сотни, тысячи маленьких выключателей, загорались телевизоры. Дети смеялись, прыгали, взрослые гасили свечи, коптилки, но ничего этого на сопке не было видно, и даже никто и не пытался представить, вообразить всю эту картину, а был только оркестр наверху, в тёмном холодном небе, в проводах, играли трубы, и чувство такого полного счастья и оправдания жизни, что даже спустя годы, когда вспоминаешь, теплеет в груди. Совсем не много таких минут набирается в биографии любого человека, зато и хранишь их, как говорится, на чёрный день. Если бы можно было как-то объяснить Але чувство это, то, может, она и не сочла бы его решение таким нелепым, но вся беда в том, что словами этого не передашь, такое пережить надо, даже не пережить, а прожить вместе с ним, как Надя, перемучиться. Поэтому Аля-то и не могла понять, а может, и Кузьмин тоже поэтому чего-то недопонял из Алиных доводов, может, и у неё есть какая-то своя нажитая правда.

Коридорчик с рваными понизу обоями.

Антресоли, где лежали чемоданы, сбоку кирзовые сапоги, в которых Кузьмин ездил на ильменские объекты. Потрёпанный коричневый чемодан. На нём и сидеть было удобно, и класть под изголовье где-нибудь в бесплацкартном вагоне...

Внимательно оглядывал он свою квартиру, словно вернулся из дальнего путешествия.

На книжной полке стояли журналы «Юность», Короленко, сборники «Пути в неизвестное», Андрей Платонов — об этом авторе Кузьмин ничего не знал, впервые он просматривал книги ребят, удивился, обнаружив здесь Тимирязева и Мечникова.

На кухне приготовлены были для него бутылка кефира и холодные голубцы.

Ничего, кажется, не изменилось, те же кастрюли, банки, ваза с бессмертниками, та же клеёнка, стена, исчирикная карандашом, — давно он её не замечал, пригляделась, — детские поделки младшего сына.

В буфете сердечные капли, наверное, Надины. Кузьмин попробовал сообразить, давно ли они здесь. Он вспомнил, что у Нади несколько месяцев побаливает сердце и о чём-то её предупреждал врач. Возле тарелки лежал истрёпанный бюллетень техотдела с их

коллективной статьёй о монтаже шин. Кто-то его брал и, видно, вернул, принёс.

Капала вода из крана. Пахло укропом и яблоками. Ночью каждая вещь жила для себя, становилась заметной. С высокой чашки улыбались пионеры. Чашку подарил Лёня Самойлов. На домашние вещи Кузьмин не обращал внимания, вещи появлялись и исчезали — случайные спутники бивачной его жизни. А вот, оказывается, чашка — не просто чашка, она ещё память о Лёне, и, глядя на неё, можно припомнить тот день, когда Лёня подарил её, как принёс, и какой он был, и где это было. Чашка хранила в себе, оказывается, массу воспоминаний, как живое существо. Без чашки ничего не сработало бы, не припомнилось.

Послышались шаги. Кузьмин подобрал босые ноги. Вошла Надя, заспанная, в халате, присела к столу, жмурясь от света. Зевая, рассказал, кто звонил, про ребят. Сама ни о чём не спрашивала. Смотрела, как ест. Глаза её, даже заспанные, выделялись на лице резко и сильно. Ещё раз зевнула недовольно и протяжно. Кузьмина взяла досада — могла бы поинтересоваться всё же, где был так долго.

— Что же, до сих пор заседали? — спросила она равнодушно. — Что это за конференция?

— Математическая, — он достал программу. — Научная.

Она перелистала, скучая.

— Тебе-то зачем?

— Пригласили.

— Время только терять, — категорично заключила Надя. — Дёргают зазря.

Кузьмин не то чтоб улыбнулся, улыбка выскользнула, он не успел её удержать.

— В самом деле, — она внимательно всмотрелась в него. — Ты-то какое отношение имеешь?

Капля звучно ударила в раковину, и снова, ещё громче. В самом деле, думал Кузьмин, какое я имею отношение, я, нынешний... Сон ушёл из Надиных глаз. Она обеспокоенно выпрямилась, словно прислушиваясь.

— Это верно, сказал Кузьмин. — Никакого отношения. Так... забавно было.

— Что забавно?

— Знаешь, кого я там встретил? Лаптева!

Выщипанные брови её поднялись, кожа на левой, обмороженной щеке натянулась, покраснела. Это произошло в гололёд, на Дальнем Востоке, когда Кузьмин заставил её ждать на сопке вертолёт с оборудованием.

— Лаптев... Лаптев... тот самый? Что долбал тебя? Он ещё жив? — Она засмеялась, напряжение медленно покидало её. — Узнал он тебя?

— Кажется.

Она вслушивалась не в слова, а в интонацию его голоса, и это беспокоило его. Он почувствовал, как трудно ему укрыться, она знала все его уловки и приёмы.

— Узнал, узнал! Вот оно что... то-то, я вижу, ты не в себе. Ну и что он тебе сказал? Напомнил... И ты расстроился. До сих пор забыть не можешь. Не стыдно? — Она успокоенно зевнула, потянулась, халатик распахнулся, и Кузьмин увидел, как проигрывала она перед

Алей. С оптическим увеличением проступили тонкие морщины на шее, блёстки седых волос. Набегал второй подбородок. И ему было больно оттого, что она проигрывала перед Алей. Потому что эти морщины были его морщины, и её тело, руки — всё это было уже неотделимо от него самого.

«Как моя работа, как прожитая жизнь, или нет — нажитая жизнь. Сменить — значит, наверное — изменить. Как предательски схожи все эти слова...»

Зрение его чудесно обострилось — он увидел мелкие трещины на стене, распухшую больную ногу Нади, синие тромбы на икрах, и в то же время видел мелькающие её молодые ноги в шиповках над гаревой дорожкой стадиона, он видел слёды своих былых поцелуев на её плечах, на груди, и шрам от грудницы, и следы беременностей и болезней. Ясновидение это было неприятно. Мучительно было видеть себя на коленях, когда он стоял, охватив её ноги, и молил прощения, и когда она его простила, он нёс её на руках по упруго-дощатому тротуару под огромными морозными звёздами и был так счастлив...

Куда ж это подевалось? За что, за что он её так давно не целует?

Он чувствовал, как от этого странного видения всё вокруг меняется, и понимал, что жизнь его тоже должна измениться. Это было странно, потому что он-то как раз старался оставить её неизменной.

Он поднялся, расправив плечи до хруста, потёр глаза, словно бы собираясь спать. Ему захотелось подойти к Наде, обнять её, но подойти вот так, ни с того ни с сего, оказалось невозможно. С удивлением он обнаружил какое-то препятствие. Что-торосло за эти годы. Искоса он взглянул на Надю: она точно прислушивалась к недосказанным его словам, беспомощно и встревоженно. Но, странное дело, глядя на неё, Кузьмин думал не о том, от чего он заслонил Надю, а чего он лишил её, — она и не подозревает, сколько бесплатных даров, какая красивая новая жизнь не досталась ей... В горле у него запершило, он заставил себя разгладить лоб, разжать губы, сделать весёлое и сонное лицо, он поднял Надю со стула, притянул к себе, заново чувствуя её мягкие груди, её тело, знакомое каждым изгибом, осторожно поцеловал её в щёку.

— Ты что? — почти испуганно спросила она.

— Да, да, всё правильно, — ответил он невпопад.

Под утро он внезапно проснулся. Кто-то звал его тоненьким мальчишеским голоском: «Па-а-влик! Па-а-авлик!» Кузьмин улыбнулся. Он не знал, чему он улыбается, за окнами тьма чуть подтаяла, и можно было ещё спать час-другой, тем более что день предстоял хлопотный, без особых радостей. Но он лежал и, улыбаясь, слушал, как босые мальчишеские ноги, шлёпая, бегут по высокой траве всё дальше и дальше, и детский голос зовёт его, замирая в отдалении.